


АЛЕКСАНДР ГОЛЬДФАРБ

18+



БЫЛЬ
ОБ ОТЦЕ,
СЫНЕ,
ШПИОНАХ,
ДИССИДЕНТАХ
И ТАЙНАХ
БИОЛОГИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ

Александр Гольдфарб
Быль об отце, сыне, шпионах,
диссидентах и тайнах
биологического оружия

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69220381

*Быль об отце, сыне, шпионах, диссидентах и тайнах биологического
оружия: Новое литературное обозрение; Москва; 2023
ISBN 9785444821644*

Аннотация

Зарождение диссидентского движения, ранний самиздат, спор Сахарова и Солженицына, мытарства еврейских отказников и эскапады «бульдозерных» художников – биография ученого и правозащитника Александра Гольдфарба тесно связана с важнейшими событиями времен холодной войны. Его воспоминания читаются не только как ценное свидетельство о советской жизни, но и как остросюжетный роман: в центре повествования оказываются попытки КГБ выявить источники утечки информации о тайной программе биологического оружия. Тщательно восстанавливая все фрагменты этой запутанной истории, автор одновременно подвергает глубокой рефлексии судьбу нескольких поколений своей семьи и круга сверстников, а также собственные отношения с советским государством.

Александр Гольдфарб – ученый-микробиолог, публицист и общественный деятель. Окончил биологический факультет МГУ, работал в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова. В 1975-м эмигрировал в Израиль, теперь живет в США.

Содержание

Предисловие	8
Часть I. Освобождение	11
Глава 1. Везение деда Гриши	11
Глава 2. Узкий круг	40
Глава 3. Явление в ИОГЕНе	66
Глава 4. Сожжение мостов	84
Глава 5. Опять Сахаров	95
Часть II. Каникулы от реальности	112
Глава 6. Под крышей détente	112
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Александр Гольдфарб
Быль об отце,
сыне, шпионах,
диссидентах и тайнах
биологического оружия



Елизавете Кузнецовой

Предисловие

Чем ближе течение времени приближает меня к закономерному концу, тем четче я вижу перед собой персонажей моей истории, хотя иных уж нет на свете. В стране моего воображения они мирно уживаются с теми, кто останется после меня, – моими детьми, внуками и их еще не родившимися детьми; тут все они современники. Но, как только меня не станет, половина исчезнет вместе со мной, а те, кто останется, ничего не будут знать о тех, кто ушел, – ведь они никогда не встречались, кроме как в моих недолговечных снах. Как сказал поэт в стихотворении, запомнившемся со школьных лет,

У каждого – свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.
И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой.
Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.

А что мы знали, в сущности, о них?¹

Эта книга – попытка перехитрить «закон безжалостной игры», донести до детей, внуков и последующих поколений подлежащий забвению мир, который был для меня столь же реален, сколь будет их жизнь, когда им доведется это читать. Не знаю, насколько это заинтересует всех остальных, но уверен, что моя целевая аудитория вспомнит меня добрым словом. Ибо я сам много бы дал, чтобы прочитать жизненный отчет, скажем, моей прабабушки. Но та, увы, обо мне не подумала и ничего такого не написала.

* * *

Все описанные здесь события и действующие лица подлинны и выступают под своими именами. Их разговоры переданы так, как они запомнились мне или непосредственным участникам, мне их пересказавшим или описавшим в мемуарах, интервью и т. п. Особенно хочу упомянуть три книги других участников этих событий:

Nicholas Daniloff «Of Spies and Spokesmen: My Life as a Cold War Correspondent»;

Милтон Бирден, Джеймс Райзен «Главный враг. Тайная история последних лет противостояния ЦРУ и КГБ»;

Игорь Домарадский «Перевертыш».

¹ Евгений Евтушенко, 1961.

Я благодарен всем, кто поделился со мной информацией или прочитал рукопись. Я вдвойне благодарен моему отважному издателю, решившемуся взять эту книгу в сии непростые времена. Пока я ее писал, в моем сознании росло نابоковское «слепое пятно»², а теперь получается, что оно не столь уж непроницаемо. Это вселяет надежду.

Больше всего я обязан моим разбросанным по свету друзьям и семье – от Москвы до Ашкелона, Лондона, Нью-Йорка и Сан-Диего, которые на протяжении многих лет настаивали, чтобы я изложил эту историю на бумаге.

² «Как писатель, я слишком привык к тому, что вот уже скоро полвека чернеет слепое пятно на востоке моего сознания – какие уж тут советские издания!» – Владимир Набоков, по поводу возможности издания «Лолиты» в СССР.

Часть I. Освобождение

Глава 1. Везение деда Гриши

В прежние времена, до Большой Войны, до моего рождения, дедушка Гриша много ездил по свету по делам мировой революции. Время от времени в этих поездках его сопровождали бабушка и маленькая мама: их путешествия запечатлены на черно-белых фотографиях в нашем семейном альбоме, толстом томе в кожаном переплете, который я люблю разглядывать; вот моя мама лет четырех с молодой бабушкой во дворе советского консульства в Стамбуле; вот она, лет десяти, с теннисной ракеткой в группе ухоженных детей в летнем лагере в Италии, а вот в Берлине как раз перед тем, как все посольские дети были отправлены обратно в Москву, когда к власти пришел Гитлер.

– Мама, ты видела Гитлера? – спрашиваю я, глядя на фотографию. То, что мама жила рядом с логовом Гитлера, наполняло мою четырехлетнюю душу благоговением и трепетом. Гитлер был страшным чудовищем, с которым родители вступили в смертный бой на берегу великой реки Волги. Чудовище было разгромлено в пух и прах, но мой отец потерял в этом сражении ногу. Так он стал инвалидом войны. Уничтожив Гитлера, родители завели меня.

Мы второе занимаем вторую по величине комнату в дедушкиной квартире, в трехэтажном доме прошлого века в центре Москвы. Раньше вся квартира принадлежала только бабушке, дедушке и маленькой маме, а теперь в ней живут четыре поколения нашей семьи. Наша с папой и мамой комната называется «большой спальней» в знак того, что когда-то она служила таковой для бабушки и дедушки. Самая большая комната – до сих пор именуемая гостиной – теперь принадлежит дедушке Грише и бабушке Мэри.

В спальне поменьше, которая в старину была маминой детской, живет Бабушка Старенькая – горбатая, седая и в самом деле очень старая. Она часами что-то бормочет, склонившись над древней книгой с незнакомыми буквами. По субботам она зажигает свечку и дает мне пятак. Я не понимаю смысла субботнего ритуала, который Бабушка Старенькая называет «молитвой», – я только знаю, что дедушке это не нравится и он называет это не менее странным словом «анахронизм».

Бабушка Старенькая происходит из эпохи капитализма. Она так и не встроилась в новую эру социализма и прогресса. С того дня, как ее восемнадцатилетняя дочь – моя бабушка – убежала из дома с дедушкой, девятнадцатилетним красноармейцем, она смирилась с тем, что нравы нового века расходятся с ее традициями. Но она упрямо продолжала зажигать субботнюю свечу в задней комнате, за плотно закрытыми дверями.

Седьмая жительница квартиры – моя няня Нюра, простая крестьянская девушка, которая спит в коридоре, ведущем на кухню, где обитает наш кот Колбасник. Нюра приехала из деревни, где живут ее родители и множество братьев. Она присматривает за мной, пока папа работает в своей лаборатории, а мама учится в медицинском институте. За это Нюра получает жалование, которое хранится в жестяной коробке под матрасом, – это ее приданое, которое мы иногда вместе пересчитываем. Нюра говорит, что ей скоро повысят зарплату, потому что у меня будет новый братик или сестричка. Еще она говорит, что мы буржуи, потому что живем в отдельной трехкомнатной квартире. Мой лучший друг Толик, например, как и большинство людей, живет в коммуналке, в подвале нашего дома, в крохотной комнате с мамой, старшим братом, бабушкой и дедушкой. Для меня остается загадкой, как они впятером ухитряются там спать, не говоря уже о том, что они делят ванную и кухню с пятью другими семьями. Я стесняюсь нашего богатства, и мне не нравится, когда нас называют буржуями. Как они смеют, когда мой дед воевал с буржуями в Гражданскую войну! Но мне нравится, когда дедушка Толика, наш дворник, снимает шапку и называет моего дедушку полковником.

Каждый день мы с Нюрой ходим на одну из ближайших детских площадок: в Советский сад между Моссоветом и Институтом марксизма-ленинизма, или в скверик перед Большим театром, или на Страстной бульвар. Это внешние

пределы моего мира, центр которого – наш дом: Столешников переулок, дом 16, в пяти минутах ходьбы от Самого Главного Места на Земле – Кремля, где живет товарищ Сталин. Находясь так близко к товарищу Сталину, я ощущаю свою исключительность, уверенность и спокойствие.

Вечером 12 декабря 1951 года дед Гриша пришел домой, как обычно, поздно. В те времена все государственные учреждения приспособлялись к графику товарища Сталина, который заканчивал работу далеко за полночь. Стараясь не разбудить домочадцев, дедушка тихонько пробрался в свою комнату. Через пятнадцать минут позвонили в дверь.

– Милиция! – раздался голос, и в квартиру вошли семеро: капитан и лейтенант в фуражках госбезопасности с синим околышем, человек в штатском, двое солдат, а также понятия: дедушка Толика и дворник из соседнего дома.

Арест дедушки остался в истории семьи в виде почти кинематографической последовательности сцен, пересказанной бесчисленное количество раз в пяти поколениях по всему миру, начиная от дома Гриши в Столешниковом и заканчивая его внуками и правнучками в Лондоне, Израиле и Калифорнии. Вслед за вступительной картиной у входной двери в квартиру вторым эпизодом этого кино стало прощальное рукопожатие Гриши с моим отцом и его последняя фраза перед тем, как его увели: «Увы, ты был прав, Давид. Попробуй заботиться о семье».

Это был значительный жест со стороны Гриши, потому

что они с отцом практически не разговаривали с тех пор, как за несколько недель до этого папа предсказал, что тещь будет арестован. Тогда Гриша ему не поверил; он был убежденным коммунистом; это казалось ему невероятным.

Сцена третья: Бабушка Старенькая, изводящая солдат частыми позывами в туалет; каждый раз, когда кто-то из них провожает ее туда, она воздевает руки к небу и восклицает: «Не понимаю, он на них работает, а они его арестовывают!»

И следующий эпизод: отец спорит с человеком в штатском из-за описи имущества, подлежащего конфискации. Папа сохранил присутствие духа благодаря своему военному опыту. Как ветеран войны, он имел определенный статус в глазах людей в погонах и сразу перешел в наступление.

– Хочу официально заявить, что многие вещи в этой квартире принадлежат проживающей здесь гражданке Алейниковой, – он указал на бабушку. – Она, хотя и является гражданской женой арестованного, но их брак не зарегистрирован и имущество раздельное. Пожалуйста, зафиксируйте это в протоколе.

Лет через 70 после тех событий, разбирая семейный архив, мы с сестрой наткнулись на любопытный документ – это был пожелтевший от времени машинописный листок с круглой советской печатью: решение районного суда по иску моей бабушки к райфинотделу с требованием исключить из конфискованного имущества «как лично ей принадлежащие, пианино „Шредер“; пишущую машинку „Континен-

таль»; часы карманные; сочинения В.И. Ленина 33 тома и сочинения И.В. Сталина 13 томов». Суд счел бабушкины претензии обоснованными и постановил вернуть ей пианино, пишущую машинку и часы, а «в остальной части иска отказать».

Ай да папа! Отсудить в разгар террора пианино и пишущую машинку у КГБ – это его стиль! Бабушка, человек тихий и неконфликтный, не смогла бы такого повернуть. Машинка и пианино с тех пор стали особо ценными семейными реликвиями – они уцелели в катастрофе 1951 года. Сочинения Ленина и Сталина пропали безвозвратно. А найденный 70 лет спустя документ позволил нам с точностью установить день ареста деда – 12 ноября 1951 года и день осуждения – 8 августа 1952 года. То есть под следствием он провел 9 месяцев.

* * *

По большому счету, в тех событиях не было ничего необычного. С 1930-х по 1950-е эта стандартная пьеса разыгрывалась в бесчисленных домах по всей России: звонок в дверь, арестованного уводят, а домашние сидят вокруг стола под охраной («Руки на стол!»). Затем следует 12-часовой обыск, хруст рассыпанной по полу крупы, горы книг на подоконниках и разлетающийся по всей квартире пух из пропоротых штыком подушек.

Что касается меня, то я заснул после получасового сидения за столом, и капитан смягчился и разрешил уложить меня в постель. Я хорошо помню свой восторг на следующее утро, когда, проснувшись, обнаружил в квартире полнейший хаос и двух солдат с настоящими винтовками и блестящими острыми штыками. К этому времени родители договорились, как объяснить мне происходящее: солдаты с дедушкиной работы помогают нам ремонтировать квартиру, а сам дедушка уехал лечить спину на бальнеологический курорт «Цхалтубо» в Грузии. С тех пор выражение «лечиться в Цхалтубо» стало крылатым семейным выражением.

На следующий день после ареста деда Гриши уволилась моя няня Нюра, ибо девушке рабоче-крестьянского происхождения не подобало жить у «врагов народа». Уходя, она сильно хлопнула дверью, отчего небольшой бюст Сталина упал с полки прямо мне на голову. Родителей не было дома, и бабушка отвела меня, в крови и слезах, в ближайшую поликлинику.

– Ему на голову упал бюст Пушкина, – объяснила она врачу.

– Это был бюст товарища Сталина, – поправил я сквозь слезы.

– Нет, это был Пушкин, – сказала бабушка таким тоном, что дальше спорить не стоило. Доктор кивнул и записал Пушкина: обоим не хотелось вмешивать в это дело имя Вождя. На рану наложили скобки, и 70 лет спустя шрам все еще

там. С тех пор мой излюбленный аргумент, когда я затрудняюсь объяснить свое поведение: «Что вы от меня хотите? Когда мне было четыре года, меня по голове ударил Сталин!»

С уходом Нюры родители не решились отдать меня в детский сад: история с лечением бабушки в Цхалтубо не продержалась бы там и дня, а они хотели по возможности уберечь меня от травмы разговоров о бабушке – враге народа. В конце концов, бабушка записала меня в частную «дневную группу» – так называли стайки дошкольников, проводивших несколько часов в день на сквериках Бульварного кольца под присмотром «руководительниц», которые заодно обучали своих подопечных каким-нибудь полезным навыкам. Моя руководительница, круглолицая дама по имени Рашель Исаковна, была моим первым учителем английского языка. Она родилась в Филадельфии и говорила по-русски с акцентом. Много лет назад, во время Большой депрессии, она последовала за своим мужем – американским коммунистом в Советский Союз. Потом муж был расстрелян как троцкист-уклонист, а Рашель Исаковна отсидела десять лет в лагере для жен врагов народа. После освобождения она зарабатывала на жизнь, обучая английскому языку детишек из хороших семей. Раз в неделю Рашель Исаковна приходила к нам на обед, и я должен был демонстрировать бабушке свои успехи, декламируя стишки на английском языке.

В январе 1952 года пророчество Нюры сбылось: у меня родилась сестричка Оля, и меня переселили в столовую к бабушке, где она жила одна после отъезда деда Гриши в Цхалтубо. Мама была теперь занята моей сестрой и своими медицинскими экзаменами; папа писал диссертацию по микробиологии. В основном мной занималась бабушка.

Бабушкино имя Мэри звучало странно для русского уха – не Мария или Маша, а Мэри, на иностранный манер. На самом деле она была Мириам, а в Мэри превратилась в Америке во время Великой Отечественной войны, когда дедушка работал вице-консулом в Сан-Франциско. Я не очень понимал, чем занимаются вице-консулы, но это определенно была захватывающая работа, судя по коллекции сокровищ, запертых в дедушкином столе в ожидании его возвращения из «Цхалтубо». Иногда бабушка открывала стол, и мы рассматривали сокровища: серебряный перочинный нож на змеиной цепочке, игрушечный автобус с надписью «Всемирная выставка в Нью-Йорке, 1939 год», индейского божка с тремя парами крыльев и открытки – Ниагарский водопад, Большой Каньон, мост Золотые Ворота. Мы искали эти места на карте, и бабушка в сотый раз рассказывала мне, как они с дедушкой возвращались домой из Америки на большом белом пароходе, за которым охотились японские

подводные лодки, и как им потребовались две недели пути на поезде, чтобы добраться из Владивостока в Москву через Сибирь по зеленой линии, прочерченной карандашом на дедушкиной карте.

Вместе с бабушкой мы бегали по делам. Мы ходили в букинистический магазин, чтобы продать книги из дедушкиной библиотеки, и в антикварный магазин, куда относили предметы из постепенно уменьшающейся коллекции американских вещей: зарплаты папы не хватало, чтобы прокормить всех нас. Однажды бабушка взяла меня с собой, чтобы отправить посылку дедушке в «Цхалтубо», и я помню длинную очередь грустных женщин и солдата в окне, который взял посылку. Мне было уже пять, и, видимо, я задавал слишком много вопросов, так как бабушка больше не брала меня с собой в ту очередь.

* * *

21 декабря 1952 года, почти через год после отъезда деда Гриши, вся страна праздновала 75-летие товарища Сталина. Я любил товарища Сталина. Его доброе лицо улыбалось мне сквозь усы с плакатов со всех сторон. Каждый день по дороге в группу Рашель Исаковны мы проходили мимо красного здания с колоннами, в котором располагался Музей подарков Сталину, где были выставлены подарки, которые Вождь получал со всего света. Однажды я уговорил бабушку зайти

внутри. Перед глазами предстали несметные сокровища – экзотические сабли, ружья, коврики с вышитыми золотом революционными сюжетами и портреты самого товарища Сталина: вот он молодой революционер, окруженный соратниками, вот – стоит в одиночестве на вершине горы, напряженно вглядываясь в бескрайние просторы, вот – на поле боя в окружении своих храбрых военачальников, а здесь – снова один, склонившись над картой в Кремле, с трубкой в руке. Но самым впечатляющим экспонатом был сияющий никелем «Роллс-Ройс» за красной лентой – подарок британских пролетариев.

– Товарищ Сталин – очень скромный человек, – объяснил экскурсовод. – Каждый день он получает подарки со всего света, и все их отдает в наш музей. Мы планируем открыть специальный отдел ко дню его рождения.

Мне не терпелось вернуться домой, где я побежал к шкафу, в котором хранились мои собственные сокровища, и выбрал самое ценное – коробку, усыпанную ракушками, которую папа и мама привезли мне из отпуска на Черном море. В коробке под стеклянной крышкой лежал сказочный лакированный краб.

– Что это? – удивилась бабушка, когда я поставил краба на кухонный стол перед ней.

– Это товарищу Сталину подарок на день рождения, – объяснил я.

На мгновение бабушка задумалась: «Давай обсудим это

с твоим отцом», – сказала она.

В тот вечер родители и бабушка провели совещание за закрытыми дверями, после чего мы с мамой завернули краба в почтовую бумагу и написали адрес: «Москва, Кремль, товарищу Сталину (на день рождения)».

– Завтра утром отвезу это в Кремль и сдам в регистратуру, – сказал папа.

– А можно я с тобой? – попросил я.

– Детей в Кремль не пускают, – отрезал папа. – Марш в кровать!

* * *

Вскоре после отсылки краба тревожные события всколыхнули мое в целом безоблачное существование; в течение одного дня я сделал два поразительных открытия: во-первых, я узнал о существовании евреев, а через несколько часов – что сам принадлежу к этому таинственному племени. Между первой и второй новостью я был яростным антисемитом.

О евреях я узнал от Толика, который рассказал мне, что госбезопасность поймала группу шпионов, переодетых врачами, которые планировали отравить товарища Сталина. Заговорщики назывались евреями. Дедушка Толика сказал, что их повесят на Красной площади.

В этот день взрослые во дворе только и обсуждали но-

вость о «деле врачей»³, повторяя официальное сообщение, звучавшее загадочно и очень страшно: «... Дегенераты рода человеческого, осквернившие священное знамя науки...». Я живо представил себе зеленолицых дегенератов с наливыми кровью глазами и длинными кривыми носами – такими обыкновенно изображали врагов на плакатах агитпропа, – как они топчут священное знамя, а потом пробираются в Кремль с ядовитым зельем для товарища Сталина в своих цепких когтях. За евреями на плакатах маячила ужасная рептилия с надписью «ЦРУ» на чешуйчатом туловище.

В тот вечер за ужином я радостно сообщил всем, что товарищу Сталину ничего не угрожает, а евреев повесят на Красной площади. Мое объявление было встречено мертвой тишиной. После ужина папа повел меня в спальню. Он сказал мне, что евреи – это не тайная группа заговорщиков, а народ, такой же, как русские, китайцы или татары.

– Ты должен понимать, – сказал папа, – что и среди евреев есть плохие люди и это они замыслили убийство.

Он немного поколебался, а затем сообщил мне, что все в нашей семье, включая меня, – тоже евреи. Это был шок, который довел меня до слез.

– Но почему же мы евреи? – запротестовал я. – Мы русские! Мы говорим по-русски, и китайцы и татары выглядят по-другому, а мы ведь нет.

³ Сфабрикованное КГБ уголовное дело против группы врачей-евреев, обвиненных в заговоре и убийстве ряда советских лидеров.

– Ты еврей, потому что твои родители евреи, – сказал папа и показал паспорт. – Читай сам.

Я недавно научился читать и был рад продемонстрировать свое искусство. Под папиной фотографией было пять строчек:

Фамилия: Гольдфарб

Имя: Давид

Отчество: Моисеевич

Дата рождения: 5 декабря 1918 г.

Национальность: еврей.

Я потребовал предъявить паспорта мамы и бабушки и, убедившись, что они тоже евреи, задумался.

– Толик – еврей? – спросил я.

– Нет, он русский, – ответил папа.

– А товарищ Сталин – еврей или русский?

– Он не еврей и не русский, – торжествующе заявил папа. – Он грузин. И его настоящая фамилия Джугашвили, а Сталин – его партийный псевдоним.

Открытие, что товарищ Сталин тоже не русский, меня немного утешило, но на всякий случай я настоял, чтобы родители разрешили мне в ту ночь спать в их комнате, на раскладушке между их кроватью и кроваткой моей сестры.



Товарищ Сталин скончался через два месяца после этого, погрузив всю страну в глубокий траур.

– Ох, отец родной, на кого ты нас покинул! – причитала во весь голос во дворе бабушка Толика.

Но, в отличие от царя-батюшки – отца нации в прежние времена, покойный вождь не оставил наследника, только усилив смятение осиротевшего народа. Его ближайшие соратники в Политбюро – товарищи Маленков, Молотов, Хрущев и Берия, которые служили таким подходящим фоном для эпической фигуры Вождя, – не могли занять его место в сердцах и умах ни по отдельности, ни коллективно.

– Бабушка, как ты думаешь, кому достанутся подарки товарища Сталина? – спросил я, разглядывая портреты членов Политбюро в специальном выпуске «Правды». Для меня было очевидно, что ни одному из них не по силам сохранить сокровища: величественный товарищ Сталин в черной рамке в маршальском мундире занимал всю первую полосу, тогда как его соратники едва заполняли полстраницы, даже если собрать их всех вместе. Товарищ Берия выглядел по-свиному в своем пенсне, товарищ Маленков напоминал жирного бурундука, товарищ Хрущев своей лысиной и круглым лицом напоминал луковицу, а неуклюжий пушок под носом у товарища Молотова явно не шел ни в какое срав-

нение с роскошными сталинскими усами. Нет, я не мог никого из них полюбить, как любил его. Мне стало жаль моего краба, и я заплакал. На следующее утро папа принес краба домой, сказав, что подарки товарища Сталина отправляются обратно первоначальным владельцам. Как я узнал много лет спустя, папа соврал: краб все это время пролежал в кладовке его лаборатории.

Гроб с товарищем Сталиным стоял в Колонном зале Дома союзов, за углом от нашего дома. Центр города был оцеплен, но все москвичи хотели отдать Вождю последний долг, и за бульварным кольцом собрались огромные толпы. Единственный путь к центру для них был через Трубную площадь, и там на выходе образовалось узкое место из-за притока толпы с трех сходящихся бульваров, в то время как военные грузовики блокировали выезды на боковые улицы. В давке на Трубной погибли сотни людей. Это происходило всего в нескольких кварталах от нашего дома, но мы об этом не знали.

Три ночи подряд я слышал, как люди идут по крыше нашей квартиры – мы жили на верхнем этаже, – пытаюсь обойти толпу и пробраться в Колонный зал. Естественно, я тоже хотел попрощаться с товарищем Сталиным. В конце концов, мама уступила моим мольбам. Мы слились с потоком скорбящих, переживших две ночи очередей и ужас Трубной. Протиснувшись между рядами солдат, мы прошли два квартала по Пушкинской до Дома союзов и вошли в громадный

зал. Свет был притушен, играла тихая торжественная музыка. И там я увидел товарища Сталина в гробу, утонувшего в море цветов, охраняемого солдатами с блестящими штыками, напомнившими мне ночь, когда дедушка уехал в «Цхалтубо». Выйдя из зала, мы благополучно добрались до дома, миновав три контрольно-пропускных пункта с помощью маминой прописки. В ту ночь я впервые видел, как папа кричал на маму: «Только сумасшедший станет выходить из дома с ребенком в такое время!» Может быть, он знал о том, что произошло на Трубной?

* * *

Несколько недель спустя выяснилось, что с врачами-евреями вышла ошибка. Папа зачитал сообщение за ужином: соратники товарища Сталина выпустили врачей из тюрьмы, а товарищ Берия наказал сотрудников госбезопасности, применивших к ним «недопустимые методы».

– Папа, что такое «недопустимые методы»? – спросил я.

– Это когда тебя заставляют признаться в том, чего ты не делал, – ответил папа.

– Значит, евреи не отравили товарища Сталина?

– То-то и оно, – сказал папа.

Еще папа сказал, что дедушка может скоро вернуться из «Цхалтубо». Но дедушка все не приезжал, а месяца через два раскрылся новый заговор: товарищ Берия «не оправдал

доверия партии» и стал врагом народа, за что был арестован верными членами Политбюро – товарищами Маленковым и Хрущевым.

Берия, Берия
Вышел из доверия,
А товарищ Маленков.
Надавал ему пинков, –

кричал я вместе с другими мальчишками во дворе, бегая за Толиком, изображавшим Берию, и загоняя его в тюрьму из пустых деревянных ящиков.

* * *

Дедушка вернулся домой только в декабре 1953-го, через два года и месяц после ареста. Он предупредил бабушку по телефону, что собирается приехать. Это случилось днем – мамы и папы дома не было. Я помню, бабушка побледнела и опустила на стул с телефонной трубкой в руке.

– Скоро придет дедушка Гриша, – сказала она.

– Из «Цхалтубо»?

– Вот именно, – улыбнулась она сквозь слезы.

Наша квартира была в двух шагах от Лубянки, поэтому он просто пошел пешком. Минут через десять в дверях появился худой незнакомый старик. Он совсем не был похож

на веселого дедушку Гришу, которого я себе представлял.

* * *

Человек по-настоящему взрослеет, когда вступает в возраст своих родителей, какими он их в первый раз запомнил. Это начало самоанализа по Фрейдю. Следующая веха наступает в возрасте бабушек и дедушек, когда они впервые всплывают в нашей памяти. Это момент осознания истории, когда ты ощущаешь себя связующим звеном между прошлым и будущим и тебя охватывает желание объяснить внукам те смутные события, которые были реальностью для их прапрабабушек. Это, вероятно, начало старости.

Я начал писать эту книгу в возрасте Гриши, каким он впервые запомнился мне в дверях нашей квартиры перед Новым, – 1953 – годом. Он был ровесником XX века; его даты точно совпали с вехами истории. Он стал революционером в 17 лет, отправился внедрять коммунизм в Европе в 23 года, чудом не попал в ГУЛАГ во время террора в 1938-м. Ему было 43 года, когда Гитлер осадил Сталинград, и 54, когда умер Сталин. На этом его политическая карьера закончилась. Вернувшись из «Цхалтубо», дедушка Гриша передал эстафету семейного марафона: первая половина века досталась ему, а вторая – мне. Примечательно, что нам обоим пришлось разбираться с одними и теми же вопросами: коммунизм/капитализм, Россия/Америка, космополи-

тизм/еврейство.

После выхода из тюрьмы Гриша прожил еще тридцать лет, но ничего значительного не сделал: это был пенсионер, молчаливый старик. Он коротал время, совершая длинные прогулки по московским бульварам, читал немецкие книги и возился со мной и моей сестрой. Он помогал мне с уроками английского и рассказывал о замечательных местах по всему свету, которые он когда-то посещал. С возрастом я постепенно начал понимать, что его арест в 1951 году положил конец блистательной тайной карьере: мой дед был сталинским шпионом. Мне также стало понятно, что подробностей его тайной жизни я, вероятно, никогда не узнаю.

Время от времени дедушка упоминал имена знаменитостей, с которыми он «как-то встречался», – таких, как Чарли Чаплин, драматург Бертольт Брехт или отец атомной бомбы Роберт Оппенгеймер. Иногда из запертого хранилища Гришиных воспоминаний выскальзывал случайный эпизод, но в целом он не выдавал своих секретов, несмотря на мои настойчивые попытки вытянуть из него информацию. Он оставил массу намеков, но так и не раскрыл сути.

Когда я стал старше, джинн свободомыслия, выпущенный хрущевской оттепелью, завладел молодым поколением. Будучи студентом МГУ в 1960-х, я стал приносить домой подпольные материалы самиздата и подсовывать их Грише, пытаясь его спровоцировать, но он читал их и хранил молчание. Казалось, его политическая персона навсегда осталась

запертой в «Цхалтубо»».

В последний раз я видел его весной 1975 года, когда в возрасте 28 лет уезжал из России навсегда, воспользовавшись первой щелью в железном занавесе, открывшейся для советских евреев. Я уезжал, зная, что мне никогда не позволят вернуться. Если и был небольшой шанс, что родители когда-нибудь последуют за мной, то я знал, что Гришу никогда больше не увижу (бабушка умерла незадолго до этого). Когда он прощался со мной, его голубые глаза наполнились слезами, но и тогда он не проронил ни слова.

Известие о Гришиной смерти дошло до меня в 1981 году в Америке, стране фантазий моего детства, о которой я впервые узнал из его открыток. Он ушел и унес с собой свои тайны – упрямый, молчаливый старик. Я много лет верил, что его жизнь навсегда останется загадкой.

Но после распада Советского Союза имя Гриши стало всплывать в рассекреченных архивах и мемуарах, извлекая из моей памяти давно забытые сцены и обрывки разговоров.

В 1994 году вышла книга бывшего начальника сталинской разведки Павла Судоплатова, в которой целых две главы были посвящены Гришиным похождениям. Через год в рассекреченных американских архивах проекта «Венона»⁴ свет увидела тайная переписка Гриши с московским цен-

⁴ Проект «Венона» (*Venona*) – кодовое название секретной программы контрразведки США по расшифровке перехваченных советских донесений времен Второй мировой войны.

тром во время войны.

По мере того как части головоломки складывались в цельную картину, постепенно раскрылись многие тайны, и стал приобретать очертания его путь сквозь те непостижимые времена. Самое замечательное вообще-то было то, что он умер своей смертью.

– Твой дедушка был счастливчик, – сказал мне как-то отец. – Он должен был отправиться на тот свет как минимум дважды: в 1938 году, когда Сталин уничтожал старую большевистскую гвардию, а потом в 1952 году, когда расстреляли всех работавших в КГБ евреев. Но Гриша отделался лишь небольшими пытками – учитывая альтернативу, пустяки.

Мой отец, тайный диссидент и антипод Гриши в моем политическом воспитании, был виртуозом черного юмора. Его теория, объясняющая везение Гриши, заключалась в том, что Гришина фамилия начиналась с одной из последних букв алфавита и поэтому он всегда был в конце списка. И правда, во время чистки 1937–1938 годов Гриша был последним из советских резидентов, отозванных из-за границы; пока он ехал в Москву, чистка прекратилась. А в 1953 году своевременная смерть Сталина спасла его в последний момент от неминуемого расстрела.

– Вот в чем все дело, – сказал отец. – Если ты имел несчастье быть евреем-большевиком, твоим шансом выжить было оказаться в конце списка.

Из Википедии:

Григорий Маркович (Гирш Менделевич) Хейфец (1899–1981) – советский разведчик, подполковник НКВД-МГБ⁵, один из руководителей разведывательного обеспечения советского ядерного проекта.

Родился 7 мая (по старому стилю) 1899 года в г. Двинске Витебской губернии, в семье яновического мещанина Менделя Янкелевича Хейфеца и Цивьи Абрамовны Лейви, которые вскоре переехали в Ригу (где отец работал в типографии «Эрнст Гланс»). С 1915 года член Бунда⁶. В 1915 году выслан из Риги, где учился в реальном училище, в административном порядке. С 1916 года член РСДРП.

В 1917 году окончил Богородское реальное училище. Участник Гражданской войны – в 1919–1920 годах на Западном фронте и Кавминводах, – был ранен в руку. После демобилизации работал секретарем Надежды Крупской, жены Ленина.

С 1921 года в аппарате Коминтерна⁷. С 1922 года – сотруд-

⁵ НКВД, «Народный комиссариат внутренних дел», и МГБ, «Министерство государственной безопасности», – названия советский политической полиции до и после 1943 года, впоследствии – КГБ.

⁶ Еврейское социалистическое движение.

⁷ Коммунистический интернационал – международная организация, объеди-

ник Отдела международных связей (ОМС, фактически разведка). В 1924–1927 годах на закордонной разведывательной работе под дипломатическим прикрытием. С 1924 года резидент ОМС Коминтерна в Латвии. С апреля 1925 года резидент ОМС в Константинополе – под прикрытием секретаря, а затем генконсула.

В 1927–1929 годах нелегал ОМС в Китае, Германии, Австрии, Франции и других странах. Находясь на нелегальной работе в Германии под прикрытием студента из Индии, в 1926 году получил диплом инженера в Политехническом институте в Йене и организовал несколько агентурных групп. С апреля 1927 года уполномоченный ОМС в Шанхае, а с 1928 года – в Берлине.

С февраля 1929 года секретарь Правления и заведующий издательством «Огонек». С июня 1931 года вновь на нелегальной работе во Франции и США. По возвращении в СССР с октября 1935 года помощник начальника отделения ИНО⁸ НКВД СССР. С июля 1936 года резидент в Италии, где привлек к сотрудничеству молодого физика Бруно Понтекорво. Летом 1938 года отозван в Москву. В сентябре 1938 года уволен из органов и назначен завотделом и заместителем председателя ВОКС⁹.

В октябре 1941 года восстановлен на службе в НКВД и в

нявшая компартии различных стран.

⁸ Внешняя разведка.

⁹ Всесоюзное общество культурных связей.

ноябре 1941 года направлен в качестве легального резидента в Сан-Франциско под прикрытием вице-консула СССР. Развернул работу по разведывательному обеспечению советского ядерного проекта. Вошел в доверительный контакт с руководителем ядерного проекта США Робертом Опенгеймером. В ноябре 1944 года отозван в Москву. С декабря 1944 года старший оперуполномоченный, затем начальник отделения 1-го управления (разведка) НКГБ СССР. С 1947 года заместитель ответственного секретаря и член президиума Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). 13 ноября 1951 года арестован по делу ЕАК, 8 августа 1952 года осужден на 25 лет лишения свободы. В октябре 1952 года дело было пересмотрено. К имеющимся обвинениям добавились терроризм и участие в заговоре в органах МГБ. 2 февраля 1953 года приговорен к высшей мере наказания. Следствие было возобновлено 23 апреля 1953 года, и 28 декабря 1953 года освобожден и реабилитирован.

Семья:

Жена – Мария Соломоновна Алейникова (1900–1975), выпускница женской гимназии в Полоцке.

Дочь – Цецилия Григорьевна Алейникова-Хейфец (1922–2004), врач-офтальмолог, была замужем за иммунологом и вирусологом Давидом Моисеевичем Гольдфарбом (1918–1990).

Внук – Александр Давидович Гольдфарб (1947), биохимик и общественный деятель.

Внучка – Ольга Давидовна Гольдфарб (1952), врач-педиатр.

* * *

Здесь самое время высказаться по поводу двух обстоятельств биографии Гриши, которые в значительной степени повлияли на мою картину мира: это, во-первых, еврейский вопрос, а во-вторых, тот бесспорный факт, что мой дед был чекистом – не слишком почетное занятие в моей системе ценностей. Я думаю об этом каждый раз, когда размышляю о своих корнях. Безусловно, те же вопросы возникнут у читателя.

С подачи Солженицына антисемиты в России утверждают, что евреи виноваты в большевистской революции, ибо среди ранних большевиков непропорционально много еврейских фамилий. Мой ответ таков: я согласен делить с русскими национальную вину за большевизм; это был совместный проект, в котором толика радикального еврейского мессианства сплавилась со стихией вековой русской дикости. В конце концов, и тем и другим пришлось дорого заплатить за этот симбиоз.

Что же касается персонального вклада Гриши, то для меня он был хорошим дедом. Он подарил мне коллекцию марок и научил кататься на велосипеде. Благодаря ему я выучил английский и увлекся Америкой. Его карьера в Конто-

ре¹⁰ закончились, когда мне было четыре года. То ли по сроку давности, то ли из-за нежелания думать о неприятном я долго не ассоциировал Гришу с ненавистной тайной полицией. Скорее наоборот: я довольно рано узнал, что «Цхалтубо» – это никакой не курорт, а шайка злодеев, которые захватили дедушку в плен, где его били и мучили. Впоследствии у меня отлегло от сердца, когда выяснилось, что сразу после Гражданской войны 21-летний красноармеец Хейфец оказался в Коминтерне, а затем во внешней разведке и, следовательно, никак не мог принимать участия в репрессиях.

Однако уже в Америке, идя по следам Гриши, я сделал неприятное открытие: за ним числилась по крайней мере одна загубленная душа: ее звали Лиза Кузнецова – невозвращенка, которую он помог изловить и отправить в СССР на верную смерть.

О Лизе я узнал из расшифровок «Веноны» – сообщений советской разведки во время войны, над которыми десять лет трудились криптографы в сверхсекретном «Арлингтон-холле», в Вирджинии, и которые пролежали в тайных архивах еще 45 лет, пока американцы их не рассекретили.

В одном из донесений из сан-францисской резидентуры в 1944 году Гриша пишет:

9 февраля с. г. в Портланде, второй помощник капитана Елизавета Митрофановна Кузнецова, 1910 г.р. дезертировала с теплохода «Псков». Не имея разрешения иммиграции-

¹⁰ Слэнговое наименование КГБ.

онных властей на пребывание в США, Кузнецова скрылась. В связи с этим мы направляем в Портланд «Майора».

Охота на Лизу, которую Гриша начал, отправив загадочного «Майора» в Портланд, удачно завершилась 21 месяца спустя, о чем 7 ноября 1945 года сообщил в Москву Гришин преемник на посту резидента в Сан-Франциско:

4 ноября с. г. изменница Родины Кузнецова отправлена во Владивосток на борту танкера «Белгород».

* * *

Судя по обрывкам биографии Лизы, которые мне удалось выудить из интернета, это была незаурядная женщина. Закончив дальневосточную мореходку, Лиза в 27 лет стала штурманом дальнего плавания торгового флота СССР. 20 декабря 1941 года ее танкер «Майкоп», перевозивший груз пальмового масла из Индонезии, подвергся атаке японской авиации. Поврежденное судно еле доплыло до филиппинского острова Минданао, где экипаж оказался в юрисдикции армии США. Десять месяцев спустя Минданао взяли японцы. Япония тогда еще не была в состоянии войны с СССР, и экипаж «Майкопа» депортировали на родину. Лизу вновь определили штурманом на «Псков», перевозивший товары из США по ленд-лизу. Она не вернулась на борт из первого рейса в Портланд.

Согласно материалам «Веноны», между побегом и поимкой Лиза успела переехать из Портланда в Сан-Франциско и выйти замуж за шофера такси. О ее судьбе после возвращения в СССР ничего не известно. Но в те годы побег с корабля, безусловно, карался смертью. Если предположить, что на Лизину транспортировку в Москву потребовалось около двух месяцев, и добавить еще три месяца на следствие и другие формальности, то Лиза, по всей вероятности, была расстреляна весной 1946-го, за год до моего рождения.

Скорее всего, она умерла, не зная, кто такой Гриша Хейфец, а для него та телеграмма в центр осталась незначительным эпизодом в череде более важных событий. Но в моей персональной ретроспективе Лиза Кузнецова навсегда вплелась в историю семьи. Когда я размышляю о делах моего деда, я думаю не о большевистской революции и не об украденной атомной бомбе, а о Лизе. Я хотел бы предъявить ее Грише, но, увы, он умер за семь лет до того, как американцы рассекретили «Венону». И чтобы хоть как-то смягчить вину перед Лизой, я посвятил ей эту книгу, чтобы Гришины правнуки рассказывали эту историю своим детям.

Глава 2. Узкий круг

Весь август 1968 года я провел в больнице «Соколиная гора», в карантинном боксе, куда меня заперла московская санэпидслужба в компании с двумя товарищами по несчастью. Нас объединил тиф.

В том, что я заболел, виновата была любовь: навещая свою подругу в ее родном городе на Волге, в 700 километрах к северо-востоку от Москвы, я попробовал на рынке немытой малины и по возвращении в Москву свалился в горячке. Температура, правда, прошла после первой дозы антибиотика, но на санэпидслужбу это не произвело впечатления – меня все равно запечатали в бокс отбывать карантин.

В тот год либеральная Москва зачитывалась самиздатским бестселлером – повестью Солженицына «Раковый корпус», где в больничных буднях показан срез всей российской жизни. У нас в боксе тоже своего рода срез – три тифозника, которые в обычной жизни не провели бы друг с другом и пяти минут: пролетарий Николай, машинист подмосковной электрички; представитель власти Илья, народный судья из глубинки (обоим за тридцать), и я, вольнодумец еврейской национальности 21 года от роду, студент 4-го курса биофака МГУ.

Мы полностью отрезаны от мира, попасть к нам можно только через предбанник, где посетитель должен облачиться

в халат, тапочки, перчатки, маску и белый колпак. Посетителей, впрочем, нет, если не считать медсестры, дважды в день приносящей унылую больничную пищу. Даже врач не появляется – одним словом, карантин.

Наша связь с остальным миром – транзисторный приемник Sony, подарок моего отца, купленный во время командировки в Лондон, немыслимая роскошь по тем временам. Транзистор стоит на тумбочке и травит душу: «А у нас во дворе-е-е есть девчонка одна-а-а...». Все спортивные новости уже обсуждены, все жизненные истории выслушаны, все анекдоты рассказаны – скучно!

– Ладно, студент, давай включай «вражьи голоса», мы знаем, что ты их ночью под одеялом слушаешь, – говорит Николай. – Коль уж нет ни баб, ни водки, так хоть про политику послушаем.

– Про политику нельзя, судья в тюрьму посадит, – отвечаю я. – Илья, скажи-ка ему, что за это положено.

– Статья 190, часть 1-я: распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй. Лишение свободы на срок до трех лет, – мрачно произносит Илья.

– Давай-давай, включай, не бойся, – говорит Николай. – Судья на бюллетене. Он только в рабочее время народ сажает. Эй, судья, ты сколько народу пересадил, признавайся!

– Отвяжись, – отзывается Илья. – Давай действительно включай, интересно, что там в Чехословакии.

Оглушительный треск с похрюкиванием и посвистывани-

ем врывается в палату. Я переключаю диапазоны: 13 метров, 19 метров, 21 метр – ничего не слышно.

– Сегодня на редкость плотно глушат, – говорю я и включаю Би-би-си по-английски.

– Ну что там, переводи, студент.

– Все нормально. Наш десант в пражском аэропорту. Танковая колонна движется от польской границы.

– Давно пора, – заявляет Николай. – Я когда в Венгрии служил в 56-м, мы в Будапешт входили, и если где на крыше снайпер, то мы из танка – бабах! И полдома нету.

– Чехи оказывают пассивное сопротивление, – продолжаю я, – сняли все дорожные указатели и названия улиц.

– Пассивное, активное, какая разница! Мы их, гадов, кормим, а они бунтуют!

Четыре дня спустя Би-би-си сообщило о демонстрации диссидентов на Красной площади в поддержку чехов. Пять смельчаков развернули плакаты «за вашу и нашу свободу» и были тут же жестоко избиты и увезены в КГБ.

– Молодцы ребята! – заявляет Николай. – Судья, на сколько тянет?

– 70-я статья, антисоветская агитация и пропаганда, до семи лет. Я бы их просто в сумасшедший дом отправил; нормальный человек на такое не способен.

– Какой же ты, Илья, зверь, – комментирует Николай. – Люди за свободу, а ты – семь лет, в сумасшедший дом! Не дай Бог, чтоб ты меня судил. А ты что скажешь, студент?

– Я скажу, что ты сам себе противоречишь, Коля. Вчера ты в венгров из танка палил, сегодня ты за свободу. Ты уж либо так, либо этак, а то сам в психушку угодишь.

– Умный ты очень, студент. Смотри, на воле судьбе не попадайся. А то он тебя сразу по двум статьям привлечет: и за агитацию, и за пропаганду.

На следующий день меня выписали. За пятьдесят пять лет, что прошли с тех пор, лица Ильи и Коли стерлись из памяти, но наши разговоры запомнились навсегда, став моим персональным символом взаимоотношений интеллигенции, народа и власти, запертых в общую клетку советской действительности, в которой я провел первую треть своей жизни.

* * *

Выросши в центре Москвы, к окончанию школы я очень мало знал об остальной части России. Ее просторы казались мне более далекими и непонятными, чем, скажем, Лондон или Сан-Франциско. Хоть я и не бывал за границей, мир по ту сторону железного занавеса казался знакомым и понятным. Благодаря знанию английского языка – плоду усилий деда, международным связям отца, передачам западных станций, а также всепроникающей западной культуре – я весь был там. А вот российская глубинка с детства ощущалась как заповедная территория, где обитали незнакомые

и непонятные мне люди.

Экскурсии в глубину отечества начались в университете. Среди студентов было около половины москвичей, а остальные – иногородние со всех концов России. Самым ярким представителем этого племени была прекрасная Таня Постнова, девушка из города на Волге, о котором я знал лишь то, что это родина Ивана Сусанина – оперного героя-следопыта XVII века, заведшего польское войско в непроходимую топь на сцене Большого театра.

Любовь в 20 лет – два зеркала, поставленных друг против друга, взаимный прорыв в новые, неизведанные измерения. Таня, мой гид в глубину отечества, стала возить меня в свой город ночными поездами, в насквозь прокуренных плацкартных вагонах, переполненных «настоящей Россией». Сама Таня, впрочем, вовсе не была девушкой из народа. Ее родители относились к местной партийной номенклатуре, т. е. были полной противоположностью моему фрондирующему московскому кругу. По принципу притяжения противоположностей к третьему курсу мы превратились в одну из стабильных пар на факультете, а на последнем, пятом курсе это завершилось свадьбой против воли родителей с обеих сторон.

Трудно было представить себе людей, более разных, чем мои родители и родители моей жены. Антонина Кузьминична работала в костромском обкоме партии начальником административного отдела. Для тех, кто родился слишком

поздно, чтобы понять, что это значит, поясняю: она была начальницей над всем, что имело касательство к управлению областью: здравоохранением, соцобеспечением, милицией, прокуратурой, судами и КГБ. Партийный контроль, согласно 6-й статье Конституции, лежал в основе системы, партийные организации пронизывали все общество, согласно многоярусной номенклатурной схеме; на самом верху находился ЦК КПСС, под ним – обкомы, затем – горкомы, райкомы и, наконец, первичные парткомы. На вершине номенклатурной пирамиды Костромской области сидела моя домашняя, уютная, хлебосольная теща. Ни одно важное назначение, ни одно административное решение не могло состояться без ее ведома.

Мой тесть Иван Сергеевич, добродушный, хозяйственный толстяк и выдающийся бильярдист, был директором местного ликеро-водочного завода. Как-то он поделился со мной секретной статистикой своего производства – получалось, что каждый взрослый мужчина потреблял около пол-литра водки в день, что в переводе на розничные цены составляло главную статью государственного дохода. Получалось, что продукция Ивана Сергеевича составляла основу экономики, бытовой культуры и семейного уклада жителей области.

– Если мой завод остановится хотя бы на неделю, произойдет народное восстание, и никакая милиция не сможет его усмирить, – посмеивался Иван Сергеевич, выразительно поглядывая в сторону Антонины Кузьминичны, как бы подчер-

кивая, что его работа гораздо важнее для поддержания порядка и стабильности, чем все ведомства, подчиненные его жене. Так или иначе, совместно мои тесть и теща контролировали бо`льшую часть жизни области.

Благодаря Тане и поездкам в Кострому неведомая территория за пределами Москвы перестала быть для меня загадкой, а аморфная масса под названием «русский народ» приобрела очертания. Картина, которая предстала передо мной, была весьма унылой. Этот народ очень хорошо подходил для индивидуального, душевного общения, вдали от политических тем – и то лишь когда принимал тебя за своего. Но стоило ему объединиться в социальную общность более трех, как индивидуальная душевность исчезала, а ей на смену приходила непредсказуемая стихия, грозная разрушительная энергия, вызывавшая в памяти строчки Есенина, звучавшие как мороз по коже:

...Нет, таких не подмять, не рассеять,
бесшабашность им гнилью дана.
Ты, Рассея моя, Рассея,
Азиатская сторона!

Однако, когда эта грозная общность соприкасалась с властью, происходила иная метаморфоза – стихия тут же сдувалась в забитую и запуганную массу, покорную субстанцию полицейского государства, которую так точно обозначил Пушкин в последней строчке «Бориса Годунова»: «на-

род безмолвствует».

В костромском порядке вещей не было и намека на московское брожение умов: были лишь безмолвный народ и власть, им управлявшая. Два раза в год, по праздникам, на здании заводского клуба, где находился бильярдный зал Ивана Сергеевича, вывешивали лозунг «СССР – оплот свободы и демократии» – квадратики белых букв по красному фону. Но только безумец в этом краю мог задумываться о свободе и демократии всерьез, тем более их обсуждать – как не обдумывают и не обсуждают правила уличного движения.

Поэтому московские диссиденты, о которых рассказывали иностранные радиоголоса, в Костроме действительно казались не вполне нормальными. То, что их время от времени сажали в психушку, выглядело вполне гуманно по сравнению, скажем, с судом и тюрьмой. Предупреждения, что по стране гуляет опасная инфекция инакомыслия, рассылались в секретных циркулярах по номенклатурным каналам и, естественно, доходили до Антонины Кузьминичны. Симптомы этой болезни, которые в масштабах области она должна была отслеживать, могли быть разными – от симпатий к оккупированным чехам или сочувствия Израилю до чтения Солженицына и увлечения православием вне рамок официальной церкви, насквозь пронизанной КГБ; все это подлежало выявлению, учету, а в острых случаях – изоляции от общества.

Однако в Костроме безумцев не было, а я благоразумно скрывал от тещи и тестя свои вполне антисоветские настроения. Возможно, они чувствовали исходящую от меня опасность и потому были против нашего брака. Но потом как-то все сладилось, и они убедили себя, что принадлежность к научному истеблишменту, куда из МГУ и из-под отцовского крыла меня вела прямая дорога, будет достаточно сильным противовесом тому навязчивому состоянию, которое моя проницательная бабушка Мэри уже давно во мне распознала и назвала старорежимным словом «нигилизм».

Свой 23-й день рождения весной 1970-го я отметил в кругу семьи в Костроме. Это уже была моя собственная семья; у меня только что родилась дочь. Торжество состоялось в родительском доме Татьяны, с балкона которого открывался деревянно-двухэтажный пейзаж, разительно отличавшийся от имперской грандиозности столицы. Талый снег под весенним солнцем, глухие заборы, крик грачей вперемежку с колокольным звоном; после московской автомобильной суеты Кострома была ожившей картиной Саврасова из Третьяковской галереи. Три поколения за праздничным столом напоминали идиллию в жанре позднего соцреализма: достаток, успех, ожидания большого будущего для двухмесячной Маши, сладко посапывающей в своей коляске. Никаких внешних признаков начинающегося экзистенциального кризиса, вскоре разрушившего эту гляцевую картинку.

Я впервые узнал об интересе ко мне Конторы на третьем курсе от своего университетского друга Володи Микояна, который однажды отозвал меня в сторону и заговорщическим тоном сообщил:

– Слушай, меня тут вызывали и спрашивали про тебя.

– Ну да! – сказал я в полном восторге, думая, что, мол, вот, настал и мой час. – А по какому поводу?

– А помнишь, ты приводил ко мне домой американца. Ну вот, его отследили и спросили, кто приводил.

– Ну, и что ты им сказал?

– Сказал, что приводил один приятель. А они: «Гольдфарб Александр Давидович? Знаем, знаем. А что вы можете о нем сказать?» Я в ответ: «Только хорошее; а что, у вас есть к нему претензии?» – «Да нет, – говорят, – просто мы заботимся о вашей безопасности. Да вы нас не бойтесь!» – «А я и не боюсь, – говорю. – Чего мне вас бояться? Я же с вами вырос, можно сказать, сын полка».

Володе действительно было нечего их бояться. Он был внуком Анастаса Микояна, старейшего члена Политбюро, главы государства и второго человека в стране в хрущевские времена. Старого Микояна отправили на пенсию в 1965 году, после того как Брежнев сместил Хрущева. Но, в отличие от Хрущева, вокруг которого сразу же возникла стена мол-

чания, за Микояном остались все привилегии высшего круга, и его имя по-прежнему открывало все двери. «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича», – гласила народная мудрость по поводу политического долгожительства Володиного дедушки – от Ленина до Брежнева. Отец Володи, генерал авиации, работал в каком-то суперсекретном авиакосмическом заведении; брат деда был главным конструктором «МИГов»; его мать, по слухам, состояла в родстве с премьер-министром Алексеем Косыгиным – в общем, вся семья глубоко укоренилась в высшем кругу.

То, что Володин контакт с американцем имел последствия, не удивляло; его курировала «Девятка»: 9-е Главное управление КГБ, отвечавшее за «кремлевские семьи». Интересно было другое: контакт отследили с опозданием на несколько месяцев; это означало, что утечка произошла совсем недавно. Я бросился к Мелвину Натансону – американскому математику, проходившему стажировку в МГУ, которого я, соблюдая все меры предосторожности, приводил в гигантскую квартиру, где Володя жил с родителями в известном всей Москве «Доме на набережной», напротив Кремля.

– Мелвин, ты рассказывал кому-нибудь о том, что был дома у Микояна? – спросил я.

– Да, рассказывал, на прошлой неделе. Я тут познакомился с русской девушкой Наташей, мы гуляли по набережной, напротив того дома. Ну, я ей и рассказал, что был в гостях

у внука экс-президента.

– Ну и как, произвел на Наташу впечатление?

– No comment, – сказал Мелвин, довольно ухмыльнувшись. – А ты откуда знаешь, ты, что, с ней знаком?

– Слава богу, нет, – я в очередной раз удивился американской наивности. – Запомни, Мелвин, первое правило: никогда не говори одному русскому про другого, если они между собой не знакомы. Половина твоих друзей стучит, а вторая половина, общаясь с тобой, рискует, что на них настучат. Ты не знаешь, что такое «стучит»? Welcome to Russia, Мелвин. Сейчас объясню...

То, что именно Микоян раскрыл мне первый ход противника в шахматной партии с Конторой длиною в жизнь, доставляет мне сентиментальное удовольствие. Среди персонажей, населяющих мое прошлое, мой бесценный друг стоит выше и светит ярче многих. Мы познакомились с ним в 17-летнем возрасте на первом курсе и остались безоговорочно верны друг другу на десятилетия. В ностальгических воспоминаниях о первых студенческих днях всплывают какие-то вечеринки, какие-то девочки, обмен пластинками для переписывания на круглых бобинах доисторических магнитофонов: я был обладателем последнего диска «Битлов», привезенного отцом из Лондона, а Микоян – диска модного тогда в Москве Сальваторе Адамо. Французская музыка, кстати, навсегда связалась у меня с обликом Володи – поджарого, ироничного, с тонким профилем и орлиным взглядом,

чем-то напоминавшего французского актера Сержа Реджиани в фильме «Искатели приключений».

Мне очень неловко представлять здесь Володю как внука его деда, но это, увы, его крест, родовая печать, затмившая для многих, да, пожалуй, и для него самого, его личную уникальность. Где-то я прочел про стресс, на который с детства был обречен принц Уэльский, родная мать которого улыбается с каждой банкноты. Примерно под таким же стрессом находился Володя, на которого со всех углов смотрело изображение его дедушки в ряду портретов членов Политбюро – на втором месте после Хрущева. При звуках этой фамилии у большинства советских людей возникало инстинктивное желание пасть ниц. А что касается фрондирующего московского меньшинства, то тут можно вспомнить песню подпольного барда Александра Галича:

Обкомы, горкомы, райкомы
В подтеках снегов и дождей.
В их окнах, как бельма саркомы,
Безликие лики вождей...

Может быть, секрет нашей дружбы и заключался в том, что я не реагировал на мистику его фамилии, но и не был готов бросить в него камень; в конце концов, у меня была проблема с собственным дедушкой-чекистом.

Однажды Володя познакомил меня со своим дедом на обнесенной неприступным забором огромной госдаче в Жу-

ковке, среди сосен, тишины и грандиозной панорамы полей на противоположной стороне Москвы-реки. Тогда я подумал: вот сидит дед моего друга, с виду добродушный старик, и пьет «Нарзан», а ведь он массовый убийца, место которому на Нюрнбергском процессе. Ведь Микоян был членом сталинского политбюро и не мог не участвовать в репрессиях самых страшных лет, хотя Хрущев в своих разоблачениях его не назвал. Интересно, что думает по этому поводу Володя?

Но способность человека уходить от неприятной реальности не знает границ, она пропорциональна масштабу проблемы. Размах злодейства Володиного деда, конечно, во сто крат превышал масштаб деяний моего деда Гриши, но и Володе необходимы были прямые доказательства, чтобы бросить в него камень. Лишь двадцать лет спустя, после того как Ельцин рассекретил архивы «Особой папки»¹¹ Политбюро, Володя вдруг сказал:

– Ты знаешь, мой дед... ведь я не верил, что он в чем-то виноват, пока своими глазами не увидел его подпись.

– Какую подпись? – не понял я.

– Под решением Политбюро о расстреле польских офицеров в Катыни. Берия написал докладную Сталину, а тот заставил их всех подписаться – и Молотова, и Ворошилова, и моего деда. Двадцать тысяч человек разом грохнули! И, как только я это увидел, я вдруг понял, что чувствовал это

¹¹ «ОП», высшая степень секретности документа в СССР.

всегда... Просто гнал от себя.

Разговор происходил в Нью-Йорке, через несколько лет после развала СССР, где Володя навещал меня на кампусе Колумбийского университета. К тому времени я уже раскрыл историю Лизы Кузнецовой – перебежчицы, которую мой дед отправил в ГУЛАГ.

– Вова, о чем ты говоришь? – сказал я. – Ведь пятьдесят лет прошло. Какое это имеет теперь значение?

– Боюсь, что это будет держать нас всегда, – ответил он.

С первых дней первого курса на биофаке мы с Микояном стали частью неразлучной компании, в которую входил еще один персонаж – Гриша Гольдберг, склонный к полноте увалень небольшого роста и необузданного темперамента. Гольдберг был мотоциклист и «сионист», для него главным в жизни был Израиль, о котором он знал все, и еще его мотоцикл, производивший невероятный шум на кампусе биологического факультета. По окончании университета дружба сохранилась, тем более что Микоян и Гольдберг пошли делать диссертацию в лабораторию моего отца в Институт генетики, а я ушел в Курчатовский атомный институт.

Помимо Микояна и Гольдберга, в мою компанию входили еще две выдающиеся личности, Вова Козловский и Юра Юров, происходившие из другой половины МГУ – «старого здания» напротив Кремля, где располагались гуманитарные факультеты (я учился в новом здании на Ленинских горах). Козловский и Юров были студентами ИВЯ – Институ-

та восточных языков – и готовились стать специалистами соответственно по Индии и Персии. Эта неразлучная пара – грузный, круглолицый Козловский и стройный, тонкокостный, спортивный Юров – славились своими совместными эскападами по женской части. По отдельности каждый из них не производил из ряда вон выходящего впечатления, но, когда они выступали в паре, их хорошо отработанный диалог ошарашивал собеседниц потоком иронии и нахальной самоуверенности, перед которым мало кто мог устоять.

С первого курса Козловский имел собственную жилплощадь, что в те годы было большой редкостью, ибо большинство из нас жили с родителями. У Козловского же была комната в коммунальной квартире, которая досталась ему после переезда родителей в новостройку. Логово Козловского было стратегически расположено в самом центре, на Тверском бульваре, и имело скандальную славу храма скоротечной любви на «психодроме» – так называлась площадь перед старым зданием МГУ, где в промежутках между занятиями скапливались выдающиеся представительницы гуманитарных профессий, а скорость завязывания знакомств, как уверял Козловский, измерялась секундами. Помимо немислимого для простых смертных списка побед у женщин, Козловский и Юров достигли совершенства еще в одном виде искусства – политической мимикрии, которая в их профессиях, связанных с идеологией, была гораздо более насущным вопросом, чем у нас, ученых: гуманитарии не могли

замкнуться в круг неучастия, который ограждал меня в лаборатории. В ИВЯ готовили авангард советской империи – специалистов по третьему миру, будущих дипломатов, шпионов, аналитиков, референтов и т. п., поэтому кристальная идеологическая чистота, стопроцентная преданность партийной линии насаждались там неукоснительно. Малейшее подозрение в крамоле означало, что карьера закончится, не начавшись. Поэтому Козловский был секретарем комсомольской организации, а Юров – молодым членом КПСС, и оба активно участвовали во всех идеологических ритуалах – более того, готовились в ближайшем времени сами включиться в борьбу за торжество социализма в мире; Козловский собирался работать в секретариате ООН в Нью-Йорке, а Юров готовился посвятить себя национально-освободительному движению курдов против марионеточных режимов США на Ближнем Востоке. Оба они имели безупречную родословную – никаких евреев и сплошные члены партии. Оба в совершенстве владели партийной фразеологией. Оба были круглые отличники. И оба люто ненавидели советскую власть, заиклившись на этом вопросе еще гораздо больше, чем я.

Прозрение Козловского и Юрова, которые начинали как ортодоксальные комсомольцы, произошло на почве чтения подрывной литературы. В качестве будущих бойцов идеологического фронта они были допущены в «спецхран» – закрытый библиотечный сектор для изучения вражеской

пропаганды; мол, хороший боец должен знать врага. Но, вместо того чтобы повышать боевую готовность, мои друзья довольно быстро сами пали жертвой этой пропаганды. Дело закончилось тем, что они стали выносить наиболее подрывные произведения из спецхрана и знакомить с ними узкий круг доверенных лиц. Постепенно комната Козловского на Тверском превратилась из вакхического убежища в подпольную избу-читальню. Именно там я прочел «1884» Дж. Оруэлла, «Тьму в Полдень» Артура Кёстлера, «Большой террор» Роберта Конквеста, мемуары Милована Джиласа, статьи Троцкого – и это лишь часть длинного списка запретных книг.

В дополнение к жемчужинам спецхрана в подпольной читальне Козловского бывал и Белый ТАСС – лента нецензурируемых новостей, запрещенных к публикации в открытой печати, распространявшаяся среди высшего номенклатурного слоя. Белый ТАСС поступал к Козловскому прямо из здания Телеграфного агентства СССР через дорогу от его дома, благодаря самоотверженности нашей подруги Лены Афанасьевой по прозвищу Афоня, работавшей там машинисткой. Афоня выносила Белый ТАСС, пряча его в романтических складках девичьего туалета, что было предметом бесконечных непристойных комментариев.

Понимая, что добыча и распространение спецхрана и Белого ТАССа подпадает под 190-ю статью Уголовного кодекса, круг читателей постепенно начал пользоваться нехитрой конспирацией: в телефонных разговорах зазвучали ино-

сказания, вместо фамилий появились прозвища, а места встреч получили кодовые названия. В конце концов сложилась группа постоянных читателей, объединенных общей тайной и неписанным кодексом поведения, которую кто-то так и назвал: «Узкий круг». Козловский и Юров стали двумя янусами идеологического фронта: по утрам на факультете это были молодые львы международного коммунизма, а по вечерам – гуру «Узкого круга», тайного ордена антисоветчиков.

Вторым направлением деятельности «Узкого круга», помимо чтения подрывной литературы, было неформальное общение с иностранцами. Это была не банальная фарцовка, хотя попадавшие в наши руки представители капиталистического мира иногда и получали содействие в обмене долларов на рубли по пристойному курсу черного рынка, а не по грабительскому официальному (тоже, кстати, уголовная статья в те времена). Главное в этих контактах, конечно, было живое общение с людьми из другой цивилизации, от которых можно было услышать о тамошней жизни, попрактиковаться в живом английском языке, а главное – ощутить исходящее от них «поле свободы», проявлявшееся порой в совершенно безобидных деталях поведения и в их наивных вопросах о самых банальных аспектах нашей действительности. Естественно, все это происходило с соблюдением максимальных предосторожностей, чтобы не попасть в поле зрения Конторы.

Конечно же, «Узкий круг» был полностью в курсе студенческой революции, прокатившейся в 1960-х по кампусам западных стран, но, хотя по нашему внешнему виду, нашей музыке, стилю нашей жизни и неконформизму мы мало отличались от буйствующих обитателей Беркли и Сорбонны, мы отнюдь не считали себя их единомышленниками. Мы были твердо за капитализм и за сионизм, видели в США оплот свободы и демократии, считали западных левых стадом баранов, оболваненных советской пропагандой, и полностью поддерживали американцев во Вьетнаме – словом, мы тоже были радикалами, противниками лицемерной, преступной, ненавистной системы, но только система была другая. И однажды мы встретились с нашим антиподом из идеологического зазеркалья.

Как-то отец, который преуспел в политической мимикрии не хуже Козловского и Юрова, сказал:

– Мне сегодня звонил важный чин из райкома партии. Сказал, что я должен принять одного американского гостя.

– Что же в этом странного? – не понял я. – Ведь у тебя часто бывают иностранцы.

– А то странно, – объяснил отец, – что звонок был не, как обычно из иностранного отдела Академии, а из райкома и что визит организован по линии ЦК КПСС – такого еще

не было. Странно также, что этот тип живет не в академическом отеле, а в гостинице ЦК. Сказали еще, что он профессор МІТ¹², но я о нем никогда не слышал. С ЦК шутки плохи, поэтому на всякий случай я оформлю тебе официальное поручение.

На следующий день я получил бумагу с печатью на бланке Института общей генетики Академии наук, удостоверяющую, что я прикомандирован в качестве гида-переводчика к д-ру А. Сильверстоуну (США), прибывшему в нашу страну по линии ЦК КПСС.

В назначенный час перед зданием института остановилась черная «Волга» с цековскими номерами, и в сопровождении аппаратчика с постным лицом, в костюме и галстукe, из нее вылез щуплый длинноволосый человек лет двадцати пяти, в джинсах, вельветовом пиджаке и с огромным круглым значком «Свободу Анджеле Дэвис!»¹³ на лацкане.

Аппаратчик представился: «Олег Григорьевич Книгин, отдел агитации и пропаганды Черемушкинского райкома. А это – прошу любить и жаловать – профессор Сильверстоун».

Алан Сильверстоун действительно оказался выпускником МІТ, но был он никаким не профессором, а свежеиспеченным кандидатом наук. Он также был членом ЦК Коммуни-

¹² Массачусетский технологический институт.

¹³ Американская леворадикальная активистка, арестованная и впоследствии оправданная в США по обвинению в терроризме.

стической партии США и одним из основателей леворадикальной организации Students for Democratic Society, известной своими баталиями с полицией на американских кампусах.

– От имени коллектива и партийной организации я приветствую профессора Сильверстоуна в стенах нашего института и хочу выразить солидарность с прогрессивными силами США, выступающими против империалистической агрессии во Вьетнаме. Мы знаем о вашей нелегкой борьбе и восхищаемся вашим мужеством. Чувствуйте себя как дома, – произнес секретарь институтского парткома, стоя на специально постеленной ковровой дорожке перед входом. Слух о том, что приехал соратник Анджелы Дэвис, разнесся по лабораториям. Из дверей института высыпали сотрудники, охватив полукругом черную «Волгу» и красную дорожку.

Алан Сильверстоун был явно смущен. Тов. Книгин тоже забеспокоился: уж слишком внешний вид хиппи-гостя не соответствовал статусу члена ЦК и всей эстетике мероприятия. Официальную часть быстро скомкали, и профессор Сильверстоун проследовал в аудиторию, где произнес (а я перевел) вполне связный доклад на близкую моему сердцу тему о регуляции генов. Тов. Книгин был под большим впечатлением – не каждый день попадаетея член ЦК, который в течение часа, без бумажки и шпаргалки, в состоянии произносить какую-то научную абракадабру, не имеющую никакого отношения к борьбе с империалистической агресси-

ей. После семинара было объявлено, что научная дискуссия продолжится в ресторане, и Книгин удалился вместе со своей черной «Волгой».

В этот вечер в квартире Володи Микояна член американского ЦК был подвергнут массирующей идеологической атаке со стороны «Узкого круга», которая подогревалась огромной бутылкой виски – «даром американских коммунистов советскому народу» и затянулась далеко за полночь. Нельзя сказать, что список преступлений коммунизма, который был предъявлен Алану, оказался для него новостью: насильственная коллективизация, сталинский террор, подавление венгерского восстания и Пражской весны, Берлинская стена – обо всем этом он слышал и раньше. Но для него все это были абстракции. Видно было, что все, о чем мы говорим, кажется ему демагогией, средством для оправдания преступлений капитализма, которые для него столь же вопиющи: засилье международных монополий, поддержка Америкой кровавых диктатур в банановых республиках, напалм и ковровые бомбежки во Вьетнаме. Обо всем этом мы слышали ежедневно в монотонных официальных новостях и должны были сами повторять на собраниях и политинформациях. Я впервые видел человека, который говорил о кознях империалистов *со страстью*, да еще *по-английски*.

– Послушай, неужели он действительно верит во всю эту чепуху? – шепнул мне на ухо Юров.

– По всей видимости, да. Такую искренность невозможно

разыграть. Наш спор шел по кругу.

– Алан, ты понимаешь, что то, что я сейчас говорю тебе, я не могу произнести вслух? А если произнесу, то моментально вылету с работы как минимум? Это тебя не смущает? – горячился я.

– То, что ты говоришь, – пропаганда. Кстати, мне тоже будет трудно получить работу в Америке, потому что я член КП, – парировал Алан. – И за мной тоже следит ФБР.

– Как член КП ты обязан завтра же донести на нас, – заметил изрядно захмелевший Юров. – А если не донесешь, то ты плохой коммунист!

– Не забывай, я американский коммунист, а не советский, – обиделся гость.

– Что и следовало доказать! – закричал я, довольный, что последнее слово осталось за мной.

Судя по всему, Алан на нас не донес, а тов. Книгин написал благоприятный отчет, потому что с этого момента я без проблем стал получать разрешения на перевод иностранцев в различных академических институтах. Мысленно ставя себя на место моих тайных кураторов в Конторе, я вижу исключительно положительный образ: объект – внук старого большевика и ветерана разведки; сын известного ученого, члена партии; зять ответственных периферийных работников; принят в доме бывшего президента страны; имеет позитивные связи в кругу молодых политологов. Единственная негативная связь – Григорий Гольдберг, замечен-

ный в компании московских сионистов. Однако сам объект не проявляет особого интереса к еврейской теме. По совокупности его морально-политический профиль достаточно высок. Пользуется доверием иностранцев. Свободное знание английского языка. Представляет интерес для вербовки.

* * *

Я до сих пор не понимаю, почему Контора не раскрыла «Узкий круг». Вокруг нас должны были быть десятки осведомителей. Видимо, нам просто повезло; если бы о наших увлечениях стало известно, то это не осталось бы безнаказанным. Как бы то ни было, «Узкий круг» не был раскрыт. Козловский и Юров благополучно окончили университет и успешно начали карьеру. Однако ни тому ни другому не суждено было стать звездой системы. Через пару лет после начала аспирантуры Козловский бросил учебу и эмигрировал в Нью-Йорк, где по сей день работает политическим комментатором русской службы Би-би-би. Вслед за Козловским уехал и я. Микоян ушел в себя и замкнулся на даче в кругу семьи. Афоня, которая снабжала нас Белым ТАССом, вышла замуж, уехала в Израиль, а оттуда в Париж. «Узкий круг» распался.

Что касается Юрова, то он попытался испить чашу двойной жизни до конца, но у него ничего не вышло. Окончив аспирантуру в МГУ, он защитил диссертацию по курдской

проблеме, остался при кафедре и стал консультантом различных тайных структур по Ирану, продолжая при этом пополнять свою домашнюю библиотеку всевозможной антисоветчиной. Но, чем дальше продвигалась его официальная карьера, тем острее был внутренний разлом.

Последний раз я видел его весной 74-го года, когда я уже был активным диссидентом и скрывался от профилактического ареста накануне визита президента Никсона в Москву (об этом в 6-й главе). Юра тогда спрятал меня в своей квартире. Мы проговорили всю ночь, и было видно, какое напряжение вызывают у него ежедневные ходки туда и обратно через идеологическую пропасть. Закончилось это трагически. В 1978-м, когда я уже был в Израиле, а Козловский в Нью-Йорке, мы узнали, что Юров покончил с собой.

Его смерть стоит первой в списке моих личных претензий к советской власти. Он был, несомненно, самым ярким членом нашей компании, но мы уехали, а он остался один по ту сторону красных флажков. Теперь мы с Козловским смотрим друг на друга через столик ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке, молча пьем газировку – два пожилых мужика, с поредевшими шевелюрами и разбухшими животами, а перед глазами молодой, веселый, нервный, искрометный Юров, апостол «Узкого круга», который, уйдя, сохранил все то, что мы за эти годы растеряли.

Глава 3. Явление в ИОГЕНе

Летом 1969 года, после окончания МГУ, я поступил на работу в биологический отдел Института атомной энергии им. Курчатова, или Курчатника, как его называли. Меня привлекла туда новая область науки – молекулярная генетика. В то время Курчатник был одним из немногих мест, где подобная работа была возможна. В отличие от институтов Академии наук, где все еще ощущалось опустошение, нанесенное генетике академиком-агрономом Трофимом Лысенко¹⁴, Курчатник, принадлежавший Министерству среднего машиностроения¹⁵, имел достаточно ресурсов для развития новой биологии. Моим научным руководителем был великий Роман Хесин, вольнодумец и зачинатель молекулярной генетики в СССР; работать у него было честью для выпускника. Он также был близким другом моего отца (тоже профессора-биолога) и знал меня с детства.

Хесин не был членом партии, и в его лаборатории не было ни одного партийного сотрудника. Это было источником постоянных трений с его заклятым врагом, секретарем Курчатовского парткома Валерием Легасовым – тем самым, кото-

¹⁴ При поддержке Сталина Лысенко организовал разгром генетики, объявив ее «буржуазной лженаукой».

¹⁵ Впоследствии Минатом, теперь Росатом.

рый выведен главным героем в телесериале «Чернобыль»¹⁶. Когда Хесин брал меня на работу, Легасов наложил вето на мое оформление. Хесин сказал, что будет за меня бороться; я помню, как он рассказывал отцу о разговоре с директором Курчатника, академиком Анатолием Александровым. Александров был номинальным руководителем атомной науки в СССР и членом ЦК КПСС, так что в иерархии он был выше Легасова.

– Я сказал ему, что подам заявление об уходе, если мне не позволят выбирать людей по своему усмотрению. И если партия хочет догнать американцев, то нам должны дать возможность продвигать молодые таланты!

Глаза Хесина сверкали за стеклами очков, копна седых волос стояла дыбом, словно наэлектризованная, а черные брови хмурились в фаустовском изгибе. Александров тогда отменил вето Легасова, и меня взяли в Курчатник.

Год спустя в моей жизни произошло знаменательное событие, которое поставило меня на путь разрыва с советским режимом. Это случилось в понедельник, 30 мая 1970 года. В то утро я вошел в конференц-зал Института общей генетики (ИОГЕНа) Академии наук СССР, где работал мой отец. В ИОГЕНе проходил международный симпозиум под председательством отца, и я подрабатывал там переводчиком. Иностранные гости составляли примерно треть участников.

¹⁶ Легасов покончил с собой в 1988 году, после того как руководил ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы.

Три переводчика по очереди сменяли друг друга в стеклянной будке, откуда обеспечивали общение между генетиками капиталистического и социалистического лагерей.

Вдруг в начале перерыва на сцену взобрался слегка сутулый, лысоватый мужчина в поношенном костюме и написал мелом на доске: «Я, физик Андрей Сахаров, собираю подписи под обращением в защиту биолога Жореса Медведева, принудительно и незаконно помещенного в психиатрическую больницу. Желающие подписать могут подойти ко мне во время перерыва или позвонить по телефону».

Моей первой мыслью было: «Что станет делать мой коллега Андрей Антонов в переводческой кабине?»

– Объявление для советских участников конференции, – нашелся Антонов.

Я огляделся: по залу бесшумно разносилась ударная волна. Увидев надпись, советские участники замирали на месте, а их лица приобретали цвет мела на доске. Иностранцы, не понимая, что происходит, продолжали движение к выходу. Я ткнул локтем аспиранта в лаборатории моего отца Гришу Гольдберга, который, обернувшись к доске, раскрыл и закрыл рот, протер глаза и прошептал в полном восторге: «Ни **я себе!»

Через минуту в зал вбежала Шурочка, начальница первого отдела¹⁷ ИОГЕНА. Она взглянула на доску, и глаза ее рас-

¹⁷ Режимно-секретное подразделение, обеспечивавшее связь с КГБ, существовавшее в каждой значительной организации в СССР.

ширились от ужаса. Шурочка вспыхнула красными пятнами, сглотнула и вылетела из комнаты – звонить в Контору.

Сахаров постоял на сцене еще несколько минут, а затем вышел из зала. Рядом со мной стояли двое американцев: Эдди Голдберг из Университета Тафтса в Бостоне и Эвелин Уиткин из Университета Ратгерса в Нью-Джерси. Накануне вечером, выпив обильное количество водки, Эдди развлекал наш узкий круг американскими песнями под гитару; теперь на его лице была мука похмелья.

– Эдди, не смотри на сцену, чтобы было не понятно, о чем мы говорим, – прошептал я. – Ты видел человека, который только что писал на доске?

Я кратко описал ситуацию и попросил его рассказать представителям капиталистической науки о том, что произошло.

– А кто такой Медведев? – спросил Эдди.

– Это биолог, который написал книгу о Лысенко и разгроме генетики. Она ходит в самиздате.

После вчерашней лекции о советской жизни Эдди уже знал, что такое самиздат.

– Понял, – сказал Эдди; он подошел к Эвелин и заговорил с ней, глядя на доску.

Я вышел в коридор, размышляя о том, засекли ли тайные глаза Конторы, которые обязательно должны быть в зале, мой разговор с Эдди. Заметили ли благодушные американцы взрыв бесшумной бомбы Сахарова? Понимают ли, что

приехали не на очередную научную конференцию, а высадились боевым десантом в тылу врага?

Сахаров одиноко стоял на лестничной площадке с папкой в руке. Наши взгляды встретились.

«А теперь, если я чего-то стою, я должен подойти к нему и подписать петицию», – подумал я и почувствовал, как в животе затягивается узел. Перед моими глазами промчались сцены моей благополучной жизни: отец и мать обсуждают покупку кооперативной квартиры для моей молодой семьи, моя жена Таня с маленькой Машей на руках, мой рабочий стол в лаборатории Хесина, тайное чтение самиздата с друзьями на даче. Стоит мне сделать шаг в сторону этого странного человека – и все это покатится в тартарары, а я окажусь по ту сторону невозвратной черты.

«Вот он, момент истины, – звенел внутренний голос. – Ведь у тебя нет сомнений и иллюзий; тебя сдерживает только страх, примитивный животный инстинкт самосохранения. Сделай шаг, будь мужчиной!»

Я почти физически ощущал тягу к Сахарову. «Это соблазн смерти, – подумал я, – открытое окно, в которое безумец выпрыгивает в погоне за миражом свободы».

В последней попытке удержаться на краю пропасти я вынул сигарету, делая вид, что я здесь случайно – чтобы закурить. В зале прозвенел звонок. Сахаров еще раз взглянул на меня, затем медленно повернулся и пошел вниз по лестнице.

Когда я вернулся в зал, надпись все еще была на доске. Первые два советских докладчика писали мелом на чистой части доски, стараясь не задеть сахаровского призыва. Наконец, ничего не подозревающий француз его стер, и теперь ничто не напоминало о случившемся.

И тут открылась боковая дверь, и в зал вошла группа во главе с директором института, академиком Дубининым. Его блестящая лысина резко контрастировала с мрачным выражением лица. За ним следовали пунцовая Шурочка из Первого отдела и мужчина в добротном костюме, излучающий уверенность партийного босса. Я узнал Олега Книгина, который когда-то привозил в институт американского генетика-коммуниста Алана Сильверстоуна.

Мой бедный отец шел последним, цокая костылями по паркету: он был инвалидом войны, потерявшим ногу в Сталинграде, и передвигался на костылях. В его 52 года папа выглядел старше своего возраста, с мешками под глазами, седеющими волосами над широким лбом и глубокими карими глазами. Его инвалидность делала его еще более загадочным и благородным. Все девочки на его лекциях по генетике микробов были втайне в него влюблены. Я обожал своего отца.

Дубинин поднялся на сцену.

— Я хотел бы прокомментировать демарш, который устроил здесь академик Сахаров. Я уважаю Андрея Дмитриевича, но считаю его поступок неуместным, я бы даже сказал,

неприличным. Коллектив института возмущен. Мы собрались здесь, чтобы заниматься наукой, а Андрей Дмитриевич пытается использовать нашу встречу в своих политических целях. Я должен извиниться за него перед нашими гостями.

Сидя в будке в полуобморочном состоянии, я переводил его речь на английский. Во втором ряду поднялась рука. Это была американка Эвелин Уиткин.

Сделав вид, что не заметил ее, Дубинин продолжал: «Я надеюсь, что мы больше не будем тратить время на обсуждение этого досадного инцидента. Если у кого-то есть вопросы, я готов ответить на них в своем кабинете».

Группа на сцене направилась к выходу, за исключением папы, который взобрался на председательское место и объявил: «Ну что ж, коллеги, продолжим нашу работу!»

Как позже рассказал мне отец, группа быстрого реагирования прибыла в институт через несколько минут после отъезда Сахарова. Главным был Олег Книгин, заведующий отделом агитации и пропаганды в Черемушкинском райкоме партии; с ним были еще два персонажа, видимо, из Конторы. Разбор ЧП начался в директорском кабинете. Дубинин с ходу набросился на отца: «Давид Моисеевич, как вы допустили, чтобы такое произошло? Почему не вывели его из зала?»

– Николай Петрович, я не вышибала, чтобы кого-то выводить. К тому же он появился во время перерыва, когда меня не было в зале.

– У вас в институте должна быть пропускная система, –

заметил Книгин.

– Сахаров – член Академии и может пройти в любой институт по своему удостоверению, – ответил отец.

– Вам придется выступить перед участниками и дать партийную оценку этой возмутительной выходке, – сказал Книгин.

– Думаю, будет правильнее, если это сделает Николай Петрович, – сказал отец. – Он директор института и член Академии, его статус равен Сахарову, и он может говорить от имени всего коллектива. А я обычный профессор. Мое заявление будет иметь гораздо меньший вес.

– Верно, – сказал Книгин. – Пойдемте в зал.

– Папа, ты бы стал выступать против Сахарова? – спросил я.

– Ну конечно нет. У меня есть опыт таких ситуаций, – улыбнулся он. – Когда в 1953 году мне приказали выступить на собрании по поводу «дела врачей»¹⁸, знаешь, что я сделал? Я упал. Мы поднимались по лестнице, два члена парткома у меня по бокам, а я поскользнулся. Костыли разлетелись в стороны, и я кувырком полетел по лестнице. Сделал вид, что потерял сознание, – мрачно улыбнулся отец.

– Папа, зачем ты вступил в партию? – спросил я.

– Я был в твоём возрасте; это было в Сталинграде, во фронтовом госпитале. Я думал, мы противостоим бóль-

¹⁸ Сфабрикованное КГБ уголовное дело против группы врачей-евреев, обвиненных в заговоре и убийстве ряда советских лидеров.

шему злу и после войны все будет иначе. И попал в мышеловку. Партия, как мафия: вход свободный, а цена выхода – твоя жизнь, – объяснил отец.

– Я не смогу так жить. Ты знаешь, я сегодня чуть не подписал петицию Сахарова, – сказал я.

Папины глаза округлились.

– Ты понимаешь, что с тобой будет, если ты это сделаешь? Нет, ты не понимаешь! – он повысил голос. Никогда еще я не видел его таким возбужденным. – Думаешь, это игра? Думаешь, тебя просто выгонят из Курчатника? Ваше поколение не видело худшего, вы не понимаете, с кем имеете дело; они превратили миллионы людей в пыль. Тебя раздавят как муху, это самоубийство!

– А как же Сахаров?

– Ты не Сахаров! Сахаров сделал для них водородную бомбу, он трижды Герой социалистического труда, и вся Академия на него смотрит. Но даже он не застрахован; вот подожди, если он будет продолжать в том же духе, то и его скрутят в бараний рог. Может, не убьют, но в сумасшедший дом посадят, как Медведева. Ты тоже туда хочешь?

– Тогда я уеду!

– Вот правильно, уезжай! Только тогда зачем ты женился и завел ребенка? Я пытался отговорить тебя от этого. Как ты думаешь, почему я учил тебя и Ольгу английскому с детства, нанимал репетиторов? Чтобы вы могли уехать, как только появится шанс. А теперь ты застрял, Таня – единственная

дочь, она никуда не поедет! А если уедешь, Маша останется с клеймом на всю жизнь!

– Что же мне делать?

– Ничего. Занимайся своей наукой. Никто не заставляет тебя участвовать ни в чем плохом. И жди – рано или поздно это предприятие лопнет, – сказал отец.

* * *

Оглядываясь назад, можно сказать, что акция Сахарова в Институте общей генетики стала поворотным моментом в диссидентском движении. За год до этого 15 смельчаков, каждый из которых по-своему перешел невозвратную черту, объявили себя Инициативной группой защиты прав человека. Они завалили власть заявлениями и протестами, которые, вернувшись в Россию в западных радиопередачах, застали Контору врасплох. Но у Инициативной группы были два слабых места. Во-первых, у нее не было лидера, который мог зажечь сердца и умы. Во-вторых, никто из ее участников не мог похвастаться высоким социальным положением или выдающимися достижениями; поэтому их было легко объявить кучкой недовольных маргиналов, которые никого не представляют.

Мистический Солженицын, звезда которого восходила в те дни, совершенно не годился на роль лидера инакомыслящей интеллигенции. Он держался особняком и смотрел

на интеллигентскую толпу с величайшим высокомерием. Если бы не появился Сахаров, с его репутацией отца водородной бомбы и глубоко продуманной философской платформой, диссиденты вряд ли превратились бы в доминирующее направление общественной мысли на следующие пятнадцать лет.

Явление Сахарова в ИОГЕНе, весть о котором в телефонных звонках моментально разлетелась по Москве, было как чудо. Член Инициативной группы, биолог Сергей Ковалев, поспешил в институт, чтобы представиться Сахарову, но опоздал. Помню, как Ковалев сидел на скамейке во дворе института с сокрушенным видом, пока я не дал ему записку с номером телефона, который Сахаров написал на доске. В тот же вечер Ковалев разыскал Сахарова и познакомил его со всей группой. У движения появился лидер.

Что касается Сахарова, то в тот день он тоже перешел черту. До этого инцидента он в своих спорах с властью держался в рамках лояльности. Но, написав несколько слов на доске в присутствии иностранцев, Сахаров бросил публичный вызов режиму в самом сердце Академии. Раньше ни один из представителей истеблишмента на такое не решался.

Согласно метафоре Солженицына, советская жизнь была похожа на вязкую жидкость, в отличие от разреженной газовой атмосферы Запада. Вы можете вращаться в газе сколько угодно, и это ни на что не повлияет. В вязкой же жидкости двинуться трудно, но если вы все же начнете вращаться,

то увлечете за собой окружающие слои, и вскоре вся среда начнет кружиться вместе с вами. Сахаров двигался в вязкой среде и тянул за собой весь образованный класс.

Всего под обращением за Жореса Медведева подписались около 60 человек, в том числе академики и литераторы. Группа американских ученых из генетического симпозиума во главе с Эвелин Уиткин потребовала навестить Медведева в больнице. Через две недели Медведева освободили. Впервые власть уступила давлению общественного мнения. Так зародилось диссидентское движение.

Что касается меня, то после эпизода в ИОГЕНе начался необратимый процесс, который через два года привел меня к полному разрыву с тем комфортабельным миром, в котором я провел первые двадцать пять лет своей жизни.

* * *

Мой друг Вася В. был аспирантом из Украины. Он появился в лаборатории Хесина примерно через год после меня. Поначалу я не обращал на него особого внимания – пока нас не сблизил странный эпизод.

В один прекрасный день Вася пропал. На пятый день его отсутствия Хесин велел мне и еще одной сотруднице его разыскать. Мы обнаружили его паспорт в комнате, которую он снимал, а это означало, что из Москвы он не уезжал. В службе скорой помощи не было никаких сведений о шате-

не 23 лет, с бородкой и родинкой на правой щеке. Наконец, после трех дней поисков, мы узнали, что неустановленное лицо, отвечающее этим признакам, содержится в городской психиатрической больнице на Каширском шоссе.

Примчавшись на Каширку, мы нашли Васю живым и невредимым, разгуливающим по двору в компании психов. С радостной, но виноватой улыбкой он махнул нам рукой через решетку. Выяснилось, что он был доставлен в больницу из вытрезвителя с симптомами глубокой амнезии – не помнил, кто он и откуда.

«Он узнал нас, значит, все прекрасно помнит, – подумал я. – Но почему он делает вид, что потерял память? Долго притворяться он не сможет». К счастью, уже был вечер пятницы, и у нас были выходные, чтобы решить, как быть дальше.

С правильными знакомствами в Москве нет ничего невозможного. К понедельнику удалось найти бывшего сокурсника моего отца, профессора психиатрии. Вместе с Васиным паспортом я привез в больницу письмо о переводе пациента в клинику папиного приятеля для дальнейшего наблюдения и лечения. Лечащий врач, впечатленный нашими связями, рассказал, что произошло, и мы наконец встретились с Васей.

Оказалось, что его подруга, аспирантка Института востоковедения, изучала коренные народы в Бурятии. Закончилось это тем, что она втянулась в сообщество ученых-буддо-

логов, у которых стерлась граница между субъектом и объектом их науки: вместо того чтобы заниматься марксистским анализом религиозного культа, они начали практиковать тантрическую йогу.

Этнографические экспедиции превратились в паломничество к источникам мудрости; научные конференции стали «группами расширения и освобождения», а буддистские тексты начали распространяться в самиздатских рукописях. В центре этого движения стоял гуру – лама из Бурятии по имени Бидия Дандарон. Это была магнетическая личность, мудрец и философ, провозгласивший Россию новым центром просветления. В своих книгах Дандарон обосновал философскую доктрину «Буддизм для европейцев».

В конце концов Контора раскрыла «буддийский заговор», совершила налеты на профессорские квартиры и студенческие общежития в Москве, Санкт-Петербурге и Прибалтике. Дандарона арестовали и обвинили в антисоветской пропаганде (вскоре он умер в лагере); кое-кто оказался в психушке, некоторые потеряли работу, некоторые были исключены из университетов. Мой друг Вася каким-то образом уцелел, что только усугубило его внутреннюю агонию. Однажды ночью, не в силах больше выносить стресс, он напился. Очнулся он в милиции. Как рассказал нам врач, когда его задержали, он в состоянии сильного волнения грозил кому-то кулаком и кричал: «Свободу Дандарону!»

Когда он пришел в себя в руках ментов, которые понятия

не имели, кто такой Дандарон, Вася понял, что, если об этом станет известно в Курчатнике, ему несдобровать. Поэтому он решил симулировать амнезию, надеясь, что менты его отпустят. Вместо этого его отвезли в психушку.

Через несколько дней друг моего отца выписал Васю и уничтожил следы его пребывания в клинике – по крайней мере, мы так думали. А потом Хесин устроил нам грандиозный разнос – мол, мы несем ответственность не только за себя, но и друг за друга, и, когда кто-то делает глупость, вся лаборатория оказывается под угрозой.

Для меня Васина история была предупреждением: если я продолжу вести двойную жизнь тайного диссидента, маскирующегося под лояльного советского ученого, я сам могу оказаться в психиатрической больнице.

* * *

Вот уже почти три года я постоянно думал об эмиграции, но перспектива никогда больше не увидеть родителей и расстаться с маленькой дочкой давила на меня, как гряда кирпичей. Между тем со всех сторон поступали сообщения об отъездах знакомых. Еврейская эмиграция началась почти случайно – как способ для режима сбить накал страстей после скандального процесса над группой евреев, пытавшихся в 1970 году угнать самолет в Израиль. Но, как только первые ласточки получили разрешения на выезд – якобы для «вос-

соединения семей», – заявки стали нарастать как снежный ком, и власти оказались застигнутыми врасплох. Внезапно тысячи людей обнаружили «давно потерянную тетю в Тель-Авиве», в то время как израильские власти организовали массовое производство фиктивных свидетельств о родстве, которые невозможно было проверить. Не прибегая к репрессиям, остановить лавину евреев, устремившихся к внезапно открывшейся трещине в железном занавесе, было невозможно. Власти начали отказывать в выездных визах, особенно людям с высшим образованием, что привело к появлению шумной группы еврейских «отказников», которые соревновались с диссидентами за внимание Запада. Но это не сработало – пример нескольких сотен отказников не удержал массы. Между 1970 и 1972 годами статистика еврейской эмиграции выросла с 1000 до 13 000 человек в год.

Щель в железном занавесе, открывшаяся только для евреев, тем не менее стала серьезным поражением режима, признаком слабости. Слово «еврей» в пятой строчке внутреннего паспорта обрело ценность и стало знаком почета. Еврей был тем, кто мог послать режим к дьяволу, кто мог уйти, вырваться на свободу. Фиктивный брак с евреем стал средством бегства из страны для целых русских семей: «еврейский зять как средство передвижения» стало ходовой шуткой. Аббревиатура визового офиса – ОВИР¹⁹ – стала культурной иконой. Хитом сезона 1972 года была песня подполь-

¹⁹ Отдел виз и регистрации иностранцев МВД СССР.

ного барда Александра Галича о злоключениях незадачливого армейского майора, который спьяну назвал себя евреем и был разжалован и исключен из партии за попытку эмигрировать. Галичу вторил кумир молодежи Высоцкий: его юмористический хит о походе в ОВИР двух собутыльников – еврея и русского – разошелся в миллионах магнитофонных записей:

Мишка Шифман башковит –
У него предвидение:
Что мы видим, говорит,
Кроме телевидения?
Смотришь конкурс в Сопоте
И глотаешь пыль,
А кого ни попадя
Пускают в Израиль!

Идея эмиграции захватила образованный класс; это была форма антисоветского протеста. Несмотря на все попытки властей изобразить соискателей выездной визы предателями, уезжающий еврей воспринимался победителем, «дерзкой рыбой, пробившей лед», по выражению Галича.

Но мне от этого было не легче. Слова из песни, в которой Галич описывает гамлетовскую агонию российского интеллигента «ехать – не ехать», звучали будто бы про меня:

...И плевать, что на сердце кисло,

Что прощанье – как в горле ком.
Больше нету ни сил, ни смысла
Ставить ставку на этот кон.
Разыграешься только-только,
Но уже из колоды – прыг:
Не семерка, не туз, не тройка –
Окаянная дама пик!

Аллюзия к пиковой даме – символу безумия пушкинского героя – наилучшим образом отражала мое состояние, в котором мысли об отъезде приобрели интенсивность навязчивой идеи. Я был на грани нервного срыва. Я чувствовал себя в ловушке. Но Таня, моя жена, не хотела и слышать об отъезде.

В общем, ситуация созрела для развязки. И она наступила, как всегда бывает, когда вам двадцать шесть лет, а ваша личная жизнь зашла в тупик: из тупика меня вытащила новая любовь. Звали ее Валентина – Валя – моя однокурсница по Московскому университету.

Глава 4. Сожжение мостов

Сказать, что любовь втянула меня в шпионскую историю, было бы преувеличением, но, безусловно, тема секретов советского биологического оружия (БО) началась в моей жизни со своего рода любовного треугольника.

Однажды весной 1973 года моя подруга Валя ошеломила меня сообщением, что ее шеф, всесильный академик Юрий Анатольевич Овчинников, к ней пристаёт. Валя была аспиранткой Овчинникова в Институте химии природных соединений, где он был директором.

На номенклатурном небосводе Академии наук СССР Овчинников был не просто звездой, а созвездием, в одиночку занимая сразу несколько руководящих постов; в сферу его влияния входили целые отрасли промышленности, десятки химических и биологических институтов, университетских кафедр, редакций научных журналов, межведомственных комиссий и отраслевых комитетов. Список регалий и наград Юрия Анатольевича вызывал в сознании образ ветерана сталинской науки, этакого академического старца: он был кавалером ордена Ленина, Героем Социалистического Труда, депутатом Верховного Совета, лауреатом Государственной премии. Было трудно поверить, что этому человеку нет и сорока лет.

Юрий Анатольевич мог все: организовать московскую

прописку, предоставить жилплощадь, устроить стажировку в Женеве, создать новый институт, выделить многомиллионный бюджет. Благосклонность Овчинникова была равнозначна успеху карьеры. Но не дай бог было перейти ему дорогу – это означало крах, профессиональную и личную катастрофу. Юрий Анатольевич был постоянно окружен группой обожавших его соратников, готовых для него на все. Женщины были от него без ума.

В тот день Овчинников внезапно предложил Вале подвезти ее домой, и, когда она сказала: «Спасибо, тут недалеко, дойду сама», он увязался за ней пешком, а его служебная «Волга», медленно ехала рядом вдоль тротуара. Избавиться от него ей удалось, только согласившись пойти с ним на следующей неделе в театр.

– Что мне делать? – Валя была в панике. – Он не отстанет. Он имеет репутацию, всегда добивается своего. И делает это так, чтобы все видели. Ему наплевать!

Валя была чрезвычайно привлекательна, а ее испуганный вид делал ее просто неотразимой.

Ситуация была очевидной. Если она уступит, Овчинников позаботится, чтобы у нее была гладкая и быстрая карьера. В противном случае он выкинет ее из профессии.

Рассказ Вали вверг меня в кризис неуверенности в себе. Хотя она и не давала мне повода ее в чем-либо подозревать, оказаться в соперниках такого человека, как Овчинников, было не для слаонервных. Помимо огромной власти, что

привлекательно само по себе, мне казалось, что как мужчина он должен быть неотразим для женщин: в 39 лет самый молодой член Академии, высокий, спортивный, в прошлом актер с внешностью Элвиса Пресли, он выделялся в толпе пожилых академиков как олицетворение силы и энергии.

Мы с Вале́й не были женаты, но, если бы и были, это не имело никакого значения. Он был женат – ну и что? Я все еще был женат на Тане, хотя мы расстались и я съехался с Вале́й год назад. Это была настоящая любовь, но как долго любовь сможет продержаться против такого натиска? Имею ли я моральное право вести себя как собственник? Какие качества я, молодой ученый и парень умеренной мускулистости, могу противопоставить превосходящей силе противника?

Конечно, если взглянуть на ситуацию с позиций добра и зла, у меня было преимущество. Овчинников был частью чудовищного советского режима, который ненавидели и Вале́я, и я, и все остальные в нашем кругу. Он был не простым «винтиком системы», а крупным деятелем, чиновником высшего уровня, членом ЦК партии. Мы же были яростными, хоть и тайными, антисоветчиками. Его предложение было дьявольским искушением, в то время как я стоял на высокой моральной платформе. С этой точки зрения девушка должна достаться мне. Но что дальше? Где мы от него спрячемся?

Выходом было бы полностью исчезнуть, уйти с подконтрольной ему территории, то есть покинуть страну и продолжить карьеру за границей. Такой вариант был возможен

благодаря моей еврейской национальности. Валя не была еврейкой, а меня, полностью ассимилированного космополита, не особо волновали ни иудаизм, ни Израиль. Но выезд в Израиль был единственным способом вырваться за железный занавес.

Мы много говорили об эмиграции, но не делали решающего шага – подачи заявления на выезд. Эмиграция означала отказ от советского гражданства и фактическую гарантию того, что мы никогда не увидим тех, кто останется в СССР. В заложниках были наши близкие.

В Валином случае это была ее пожилая мама. В моем – родители и сестра и, что самое ужасное, моя трехлетняя дочь Маша. Ночь за ночью невыносимая мысль о том, что придется оставить моего ребенка, боролась у меня в сознании с неумолимой логикой: «Во-первых, мой брак с Татьяной не удался; это окончательно, я живу с Валей, а Таня встречается с кем-то еще. Во-вторых, рано или поздно я войду в открытый конфликт с режимом, и биография Маши в любом случае будет испорчена; уж лучше «отец за границей», чем «отец в тюрьме». В-третьих, мы с Таней в равных условиях. Я предлагал ей уехать вместе ради Маши, но она сказала, что не может бросить родителей. Она сделала свой выбор; я имею право на свой. В-четвертых, тот факт, что железный занавес приоткрылся – только для евреев, – не означает, что он останется открытым навсегда. Дверь может захлопнуться в любой момент, и тогда всю оставшуюся жизнь я буду жа-

леть, что упустил возможность.

А тут еще Овчинников! Это было последней каплей.

Вскоре Валя повергла весь институт в шок, заявив, что уходит из аспирантуры «по личным причинам». Еще никто никогда не покидал лабораторию Овчинникова по собственному желанию. Люди ломали голову: неужели он выгнал ее, потому что она отказалась с ним спать? Вот чудовище!

Тем временем я собрал все свое мужество и пошел сообщить новость родителям. Было начало июня, и они жили на даче, в деревянном домике в зеленой полосе Подмосковья. Отец был один; мама ушла в магазин, а моя сестра, студентка медвуза, была на занятиях. Папа был рад моему появлению. С тех пор как я расстался с Таней, она и маленькая Маша приезжали сюда чаще, чем я.

В детстве я каждое лето проводил на даче. В годы учебы в университете я предпочитал приезжать сюда, когда родители были в городе, с компанией друзей. Здесь мы читали самиздат, слушали иностранные передачи, пили водку, разговаривали; дача была для меня колыбелью инакомыслия.

Поначалу папа не возражал против моего увлечения антисоветчиной и иногда даже брал у меня запретную книгу. Хотя он состоял в партии, он был «кухонным диссидентом» – если не в делах, то в мыслях. Как и многие советские интеллигенты, он слушал «Голос Америки», Би-би-си и «Радио „Свобода“». Он понимал, что я двигаюсь к столкновению с системой и рано или поздно присоединюсь к рядам откры-

тых диссидентов, которые часто оказывались за решеткой. В течение многих лет он призывал меня сидеть тихо и ждать, когда режим встретит свой естественный конец. Но с каждым годом все больше и больше казалось, что ожидание может затянуться на всю жизнь. В то же время он знал, что не все обращающиеся за выездными визами их получают – некоторые становятся отказниками. И наконец, как и я, он страшно переживал из-за Маши и не видел хорошего выхода из этой ситуации. Поэтому он так разволновался, когда услышал, что я принял решение.

– Может быть, вы с Таней все-таки попробуете восстановить семью и она поедет с тобой? Я могу поговорить с ней.

– Это бессмысленно. Я с ней говорил – она не поедет. Мы разводимся.

Папа развел руками и беспомощно посмотрел на мою мать, которая стояла в дверях. Мама не отличалась темпераментом. Более того, в стрессовые моменты ее охватывало ледяное спокойствие, которое исходило не столько от силы характера, сколько было формой эмоционального шока, способом справиться с ситуацией.

– А что будет с Машей? – сказала она.

– Я ведь тебя предупреждал, – продолжал отец. – Я это предвидел! Если бы ты меня послушал, то не оказался бы в этой ситуации...

– Ой, папа, пожалуйста, не начинай снова. Ты был прав, я не должен был жениться, окей? Но что же мне теперь делать?

Сидеть и не рыпаться?

– А если тебе откажут? Для тебя это будет конец.

– По статистике, в отказ попадают около десяти процентов. Большинство получает разрешение и уезжает, – возразил я. – Если я останусь в этой стране навсегда, по крайней мере это будет не мое решение, а кого-то другого.

– Играешь в рулетку со своей жизнью, – проворчал он. – Боюсь, твои шансы хуже, чем в среднем по статистике; ведь ты работаешь в Курчатнике.

Я, как и все в атомном институте, имел самую низкую, «третью форму» секретности. Но предмет моих исследований – белок, который копирует гены в клетке, – не имел никакого отношения к государственной тайне, как и вся лаборатория Хесина. Курчатник был огромным учреждением с секретными и «открытыми» отделами, разбросанными по огромной территории. У меня не было права входить в здания, где проводилась секретная работа.

– Ты же знаешь, что я по эту сторону стены, – сказал я, имея в виду кордон безопасности вокруг секретных подразделений.

– Я хотел бы, чтобы ты оказался прав; что я могу сказать? – покачал он головой. – Что ж, давай, действуй, ты ведь все равно уже решил. Я бы сам поехал, но я слишком стар: кому я там нужен? И кто-то должен заботиться о Маше. Надеюсь, Таня не станет отрезать мне контакт. А я позабочусь, чтобы Маша не забыла, что у нее есть отец. Когда-нибудь это

безумие закончится, и мы соединимся. Надеюсь, я доживу.

– Я женюсь на Вале, и она едет со мной, – объявил я вторую новость, которая шокировала родителей не меньше первой. Они не одобряли моего романа, считая, что Валя была причиной моего разрыва с Таней.

– Надеюсь, она знает, что делает, – мрачно сказал отец. – Она ведь аспирантка Овчинникова? Он заботится о своих; ее ждет блестящая карьера. И она готова отказаться от всего этого ради...

– ...Ради меня? Похоже, да. Я сам удивлен.

Отец помедлил. «Тут может быть проблема», – сказал он наконец сделав жест, известный каждому советскому человеку, – очертил пальцем круг в воздухе и показал на потолок, чтобы предупредить, что чужие уши могут слышать наш разговор. Он взял лист бумаги и написал: «Вокруг Овчинникова что-то заваривается. Говорят, он получил огромные деньги на разработку биологического оружия. Если Валя в этом участвует, вас не выпустят».

«Она бы мне сказала», – написал я. «Будь осторожен», – написал в ответ отец и сжег бумагу.

Мама молча наблюдала за нашей перепиской. Она вздохнула и вышла из комнаты.

* * *

Хесин сразу все понял, как только я вошел в кабинет

и сказал, что хочу поговорить по личному делу; видимо, отец его предупредил. Очертив тот же выразительный круг в воздухе, означающий, что «у стен есть уши», он сказал: «Приходи вечером ко мне домой, поговорим о личных делах в непринужденной обстановке».

Хесин жил один. Его двухкомнатная квартира была переполнена книгами – башня из слоновой кости, убежище отшельника, выдавшее лучшие времена. Когда-то у него были жена и сын, но жена ушла, а сын погиб в результате несчастного случая на охоте около десяти лет назад. Мне было неловко. Я был его любимым учеником, он смотрел на меня почти как на сына, и вот я пришел, чтобы нанести удар.

– Я не буду тебя отговаривать; решил уезжать – уезжай, – сказал Хесин за ужином из домашней пиццы. – Но ты выбрал самое неудачное время. Я пытаюсь взять Борю Лейбовича в лабораторию, а он мало того что не член партии, так еще и еврей. Если станет известно, что ты подался в Израиль, то он может забыть о нашем институте. Не мог бы ты подождать год, пока я не решу проблему с Борей?

«Хесин, конечно, великий ученый, – подумал я, – и я ему многим обязан. Но понимает ли он, что давит сейчас на кнопку вины? Я ломаю голову над этой проблемой уже много месяцев и знаю ответ. Будущее Бори Лейбовича зависит от моих поступков? Что ж, на той же чаше весов находятся мои родители и моя дочь – и что может добавить к этому карьера Бори? Если Легасов заблокирует Борю, то

виноваты будут Легасов и советский режим, а не я. И если я больше никогда не увижу родных, то виноват не я, а советская власть, которая опустила железный занавес. Если я не смогу переступить эту черту, то, значит, я тоже стану добровольным заложником, а я уже решил, что не готов играть эту роль».

– Роман Бениаминович, – сказал я Хесину, – Боря Лейбович в таком же положении, что и я. Ему не нравится, что из-за меня его не возьмут в аспирантуру? Это для него обидно и унижительно? Но ведь у него, как и у меня, есть свобода воли. Он может собрать вещи и уехать вместе со мной. И вы, кстати, тоже. А если нет, значит, вы соглашаетесь с правилами игры. Значит, так вам и надо!

Мой голос дрожал. Никогда раньше я не позволял себе говорить с шефом в таком тоне.

– Я тоже думал об этом и ожидал такого ответа, – сказал Хесин, ничуть не смутившись. – Предлагаю компромисс: если ты подашь заявление на визу, тебя все равно тут же уволят, и я ничего не смогу сделать. Так почему бы тебе не уйти по собственному желанию и не взять паузу, скажем, полгода, прежде чем ты подашь заявление? Тогда наша лаборатория не будет иметь к тебе отношения. Шесть месяцев не имеют большого значения; сейчас апрель – подожди до октября.

«Полгода не проблема, – подумал я. – Тем более что у меня пока нет вызова из Израиля – от пресловутой „тети из Тель-Авива“, – который обещал прислать недавно уехав-

ший Гриша Гольдберг».

– Хорошо, – сказал я, и мы выпили за компромисс. Затем мы придумали причину, по которой я бросил работу над почти готовой диссертацией: якобы у меня развилась аллергия, и я больше не могу работать с ДНК.

– Ты подумал о том, что будет, если тебе откажут? – Хесин повторил вопрос отца, когда я уже уходил. – Если призовут в армию? – и, не дожидаясь ответа, сказал: – Удачи!

Глава 5. Опять Сахаров

Жизнь после ухода из Курчатника поначалу казалась скучной. Я устроился лаборантом в больничную лабораторию, но не мог усидеть на месте, охваченный жгучей необходимостью делать что-то важное. У меня не было будущего в этой стране, мне нечего было бояться и нечего терять, так почему же я прячусь в крысиной норе, слушая «Голос Америки», который рассказывает мне, как другие люди борются за то, во что верят?

Наконец, в начале октября у меня появилась возможность попробовать себя в деле. Лена Афанасьева (Афоня) познакомила меня с активным диссидентом, журналистом-отказником Кириллом Хенкиным, который был неофициальным пресс-секретарем диссидентского сообщества. Мы быстро сблизились, хотя он был на 25 лет старше. С его французским шейным платком и безупречными манерами, ироничный, благородный Кирилл был для меня воплощением европейца.

Кирилл представлял перед иностранными корреспондентами («коррамами», как мы их называли) как еврейских отказников, так и диссидентов (их называли «демократами»), выступавших за права человека, свободу слова и т. п. Летом 1973 года Кирилл неожиданно получил выездную визу и предложил мне занять его место в качестве связующего

звена между активистами и коррами – деятельность, которая была столь же значимой, сколь и опасной.

– Алик, где вы работали? В Курчатовском? – спросил он. – Вам все равно не дадут визу. Ваш единственный шанс выбраться отсюда – это стать такой занозой, что власти сами предпочтут от вас избавиться. В моем случае это сработало. Я называю это «принципом Фишера».

И он рассказал мне удивительную историю своей жизни.

Кирилл был несостоявшимся шпионом. Ребенком родители увезли его во Францию, где он вырос в среде эмигрантской молодежи, дружил с Цветаевой, учился в Сорбонне, а в 1937 году уехал воевать в Испанию на стороне республиканцев. После победы Франко он вернулся во Францию, а когда нацисты взяли Париж, уехал в Америку. После нападения Гитлера на СССР Кирилл в порыве романтического патриотизма вернулся в Россию по морю – из Сан-Франциско во Владивосток.

– Я понял, как горько ошибся, как только ступил на советскую землю, – рассказывал Кирилл, – но деваться уже было некуда.

Кирилла, свободно говорившего по-французски и по-английски, немедленно забрали в разведшколу НКВД, чтобы готовить к отправке в Европу. И тут ему встретился человек, перевернувший его жизнь: его инструктором по шпионскому ремеслу оказался немецкий коммунист Вилли Фишер, впоследствии прославившийся под именем супершпи-

она Рудольфа Абеля²⁰. Фишер сразу понял, что Кирилл сделан не из того теста, чтобы быть шпионом, но молодой человек ему понравился, и Фишер научил его, как уйти из НКВД, не угодив при этом в ГУЛАГ.

– Ты должен постараться повернуть ситуацию так, чтобы не система была твоей проблемой, а ты стал проблемой системы, – объяснил Фишер Кириллу. – Стань неудобоваримым, и тогда система сама извергнет тебя из своего чрева, как кит Иону.

Под руководством Фишера Кирилл стал разыгрывать из себя идиота, не способного к какой-либо шпионской деятельности. Он выбалтывал первому встречному все, что узнавал на занятиях, путал пароли и коды, придумывал неправдоподобные истории и выдавал их за чистую монету. В конце концов его выгнали из разведшколы за профессиональную непригодность.

Кирилл утверждал, что этот урок не раз помог ему в жизни, и решил передать его мне.

– Я предлагаю вам, Алик, стать голосом нашей разношерстной команды, представлять нас перед вражеской прессой, – объяснил мне Кирилл. – Если будете эффективным, в чем я не сомневаюсь, вас вышвырнут отсюда раньше, чем вы думаете.

²⁰ Абель был арестован в США в 1957 году, а в 1962-м обменян на сбитого американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Этому эпизоду посвящен фильм «Шпионский мост».

«Если бы все было так просто», – подумал я. До Кирилла связь диссидентов с коррами осуществлял Владимир Буковский, который получил семь лет колонии за антисоветскую пропаганду. Став раздражителем для Конторы, можно было с равной вероятностью отправиться в эмиграцию либо в лагерь.

– Я готов, – сказал я, опьяненный собственной смелостью. Наконец-то я дорвусь до чего-то настоящего! Кирилл тут же принялся обучать меня основам работы западных СМИ: что такое новостной цикл, как писать пресс-релиз, сроки сдачи материала и т. д. Перед своим отъездом Кирилл познакомил меня с несколькими коррами, ключевыми деятелями демократического движения и еврейскими активистами.

* * *

После недельного обучения Кирилл объявил, что я готов к бою. «Завтра вы будете переводить важное интервью», – сказал он.

То, что последовало, изменило всю мою жизнь. В назначенное время я стоял на Страстном бульваре, напротив скверика, в котором играл в детстве, и думал: «Во что я ввязался?» Меня трясло от страха. Я смотрел на стайку детей в сквере, а мое сердце отбивало секунды. Холодный пот выступил на лбу, спазм сжал желудок. Мне казалось, что на меня смотрят десятки глаз, каждый прохожий казался агентом

Конторы. Я посмотрел на часы: еще две минуты, еще минута...

Ровно в условленное время с Пушкинской на бульвар завернул огромный черный американский автомобиль с номером «К-04», что означало «американский корреспондент». Массивная дверь открылась, и сидящий мужчина с короткой стрижкой и голливудской улыбкой прокричал: «Алекс? Я Джей. Кирилл мне о тебе рассказал. Рад познакомиться, залезай».

Я понял, что это была та самая машина, у которой, как передавал «Голос Америки», «неизвестные лица» разбили стекло и порезали шины после особенно неприятной статьи ее владельца. Мы направлялись к дому академика Сахарова, где я должен был переводить интервью для водителя авто – Джея Аксельбанка, главы московского бюро Newsweek.

Как только я сел в машину, мой страх рассеялся. Пока я был с Джем, мне ничего не грозило. Мы подъехали к дому послевоенной постройки на улице Чкалова и поднялись на седьмой этаж. Дверь открыла маленькая седая старушка. Она была настолько худой, что было непонятно, как она вообще двигается, и у нее были удивительно молодые, большие темные глаза.

– Я Руфь Григорьевна, мама Люси, – сказала она, имея в виду свою дочь Елену Боннэр, жену Сахарова. – Андрей звонил и просил извиниться, они немного запаздывают.

Я огляделся. Это была обычная трехкомнатная квартира с множеством книжных шкафов – типичная московская интеллигентская бедность. Невероятно, что в этой аскетической обители живет трижды Герой Социалистического Труда, создатель водородной бомбы! На своем веку я повидал достаточно академических квартир, чтобы понимать, что это на много ступеней ниже номенклатурного уровня академика. Неужели у него все отняли?

Как я узнал позже, квартира принадлежала Руфи Григорьевне; Сахаров переехал сюда к Елене Боннэр – все называли ее Люсей, – оставив свою роскошную академическую квартиру детям от первого брака. Денег на покупку нового жилья у него не было: все свои значительные сбережения и доходы от государственных премий он пожертвовал онкологической больнице, когда начал выступать против партийных привилегий.

Тихая квартира на улице Чкалова была в те дни эпицентром сильнейшей бури, закружившейся вокруг Сахарова. В течение трех лет после того, как я видел его в ИОГЕ-Не, он продолжал подписывать диссидентские документы, но в целом воздерживался от прямых встреч с иностранными корреспондентами, что было бы прямым нарушением режима секретности участников атомного проекта. Но в июле 1973 года он нарушил табу: дал свое первое интервью иностранному корреспонденту – репортеру шведской газеты, – в котором рассказал о нарастающих экономических пробле-

мах СССР, зажиме информации, отсутствии свободы, коррупции, привилегиях, неравенстве и об угрозе, которую закрытое советское общество представляет для внешнего мира. Помимо сути его заявлений, сам факт интервью произвел эффект разорвавшейся бомбы. Тысячи ученых в секретных лабораториях, узнавшие об этом из зарубежных передач, не верили своим ушам; ведь Сахаров был ведущим физиком-атомщиком, отцом водородной бомбы, современным Курчатовым. Он сам был государственной тайной, собственностью партии. И он позволил себе встретиться с иностранным корреспондентом? И еще жив?

Оправившись от первоначального шока, режим перешел в наступление, за которым образованный класс с замиранием сердца следил, прильнув к транзисторным приемникам на своих дачах и кухнях. 15 августа Сахарова вызвали в прокуратуру, чтобы предупредить о том, что встречи с иностранцами нарушают его обязательства по режиму секретности. В ответ 21 августа он созвал домашнюю пресс-конференцию, на которой рассказал о политзаключенных: в этот день в квартиру Руфи Григорьевны набились два десятка западных корров. Через неделю власть отозвалась письмом 40 академиков, опубликованным в «Известиях»:

«Своими заявлениями, глубоко чуждыми интересам всех прогрессивных людей, А. Д. Сахаров грубо искажает советскую действительность... А. Д. Сахаров, по сути, стал оружием вражеской пропаганды против Советского Союза».

Но Сахаров явно шел на эскалацию. В начале сентября он написал открытое письмо в Конгресс США в поддержку законодательной инициативы сенатора Генри Джексона, связывающей американские торговые льготы для СССР со свободой эмиграции, которая стала известна как «поправка Джексона». Обращение Сахарова стало палкой в колесах *détente* (разрядки) – курса президента Никсона на сближение с Советским Союзом.

«Считаю своим долгом высказать свою точку зрения о праве выбора страны проживания, – писал Сахаров. – Отступление от принципиальной политики было бы предательством по отношению к тысячам евреев и неевреев, желающих эмигрировать, к сотням людей в лагерях и психбольницах, к жертвам Берлинской стены. Такой отказ привел бы к усилению репрессий... Это было бы полной капитуляцией демократических принципов перед лицом шантажа и насилия».

Оглашение письма в Конгрессе вызвало бурю негодования в Москве. Словно по команде, во все советские газеты хлынули письма с осуждением Сахарова от композиторов, кинематографистов, врачей, писателей, героев социалистического труда и простых пролетариев. Советские СМИ не видели такой оргии осуждения со времен сталинских кампаний против «врагов народа». «Постыдное поведение», «На службе у врага», «Недостойн звания ученого», «Мы возмущены!» – кричали заголовки. Это продолжалось весь сентябрь,

вплоть до того дня, когда Джей Аксельбанк привел меня в тихую квартиру на улице Чкалова.

Сахаров и Люся появились через полчаса; бушевавшая вокруг буря совершенно не затронула их спокойствия. Сахаров не выглядел пророком или революционером: у него была мягкая улыбка, высокий лоб, чуть прищуренный, всепонимающий взгляд и вдумчивая манера речи, будто он приглашал вас к обсуждению.

Джей объяснил, что Newsweek хотел бы более подробно осветить его недавние заявления о советско-американской разрядке, провозглашенной президентом Никсоном и генеральным секретарем Брежневым. Мог бы доктор Сахаров объяснить свои мысли и позицию в контексте своей личной истории?

В течение следующего часа, воспроизводя речь Сахарова на английском языке, я чувствовал себя как медиум, через которого истина изливается в мир. Он объяснил, почему традиционные понятия «равновесия сил» и «сфер влияния» в мировой политике должны уступить место новому подходу, в котором во главу угла будут поставлены универсальные ценности: разум, мораль и свобода. Поэтому, когда Никсон и Киссинджер ищут компромисса с Брежневым ради «геополитического равновесия» в ущерб общим ценностям, они совершают ошибку. Разрядка сама по себе не имеет ценности; Запад должен задать себе вопрос: «С кем разрядка и с какой целью?»

Сахаров описал вехи своего пути с тех пор, как он участвовал в разработке советского термоядерного оружия: «В 1964 году я направил правительству письмо с призывом прекратить ядерные испытания. Хрущев пришел в ярость, и это могло бы плохо для меня кончиться, если бы Брежнев его не сместил».

Советское вторжение в Чехословакию в 1968 году оказало на Сахарова огромное влияние. В то время, все еще оставаясь ведущим ученым в программе ядерного оружия, он написал свой манифест «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», надеясь побудить у власти импульс к либерализации. За это его лишили допуска к секретной информации. Затем он начал подписывать обращения против политических репрессий, что считал для себя «моральным долгом».

– Можно ли сказать, что ваши действия были вызваны чувством вины за бомбу? – спросил Джей.

«Неприятные вопросы – часть работы репортера», – подумал я. Но Сахаров, видимо, много раз задавал себе тот же самый вопрос.

– Бомба – ужасная вещь, – сказал он. – Но я в то время считал, что родина должна владеть этим оружием.

Он сказал: «считал», отметил я про себя двусмысленность его слов. Означает ли «считал», что он больше так не считает? Было видно, что это неприятная для него тема.

Но Джей не задал очевидного следующего вопроса: а что

вы думаете сейчас? Вместо этого он спросил:

– Сколько вам было лет, когда вы сделали бомбу?

– Тридцать три, – сказал Сахаров. Он написал цифру и обвел ее кружочком на листке бумаги, на котором что-то рассеянно рисовал. Я проследил за взглядом Джея – тот внимательно изучал рисунок.

– Доктор Сахаров, не могли бы вы разрешить мне взять ваш набросок? Вы не будете возражать, если мы воспроизведем его в журнале?

– Пожалуйста, – улыбнулся Сахаров. – Забавная картинка, не так ли?

Я посмотрел на рисунок: маска в виде черепа в короне наэлектризованных волос, искаженная в агонии, как от удара током, с черными струйками, стекающими вниз и превращающимися в змеиные головы. На заднем плане домино – символ неопределенности. «Боже, – подумал я. – Этот сюрреалистический продукт подсознания, душевный кошмар исходит от человека, который вложил апокалиптическое оружие в руки монстра! И теперь, отказавшись от богатства и привилегий, он из чувства морального долга рискует жизнью, чтобы помочь жертвам этого монстра. Какие мучения, должно быть, испытывает этот человек!»

– Ожидаете ли вы каких-либо практических результатов от своей деятельности? – продолжал Джей.

– Нет, наше влияние минимально. Несмотря на все наши заявления, мы практически ничего не можем изменить.

Так на что же он надеется, этот сверхрациональный человек, вступивший в битву с тоталитарной властью, если понимает, что у него нет шансов?

– Мои действия основаны не на целесообразности, а на моральном императиве: делай что должен, и будь что будет, – сказал Сахаров, одним махом разрубив узел моих собственных сомнений, страхов и вины перед семьей, которую держат в заложниках.

К концу интервью я совершенно успокоился: вроде бы ничего драматичного не происходило. Теперь мы допьем чай, и я вернусь домой, где меня ждет Валя, и мы пойдем в кино или останемся дома. Я сделал то, что был должен, и теперь будь что будет.

* * *

– Что ж, спасибо, – сказал Джей, когда мы вернулись в черный седан. – Ты даже не представляешь, как много для меня значит это интервью. Может быть, попадет на обложку. Куда тебя отвезти?

– Подвези до метро, – сказал я. Страха не было. Я перешел черту, и теперь будь что будет.

«Когда вы в первый раз туда придете, вас задержат, – предупредил Кирилл. – Но волноваться не следует, они просто снимут ваши паспортные данные».

Спускаясь по эскалатору, я оглянулся. Кругом десятки

людей, обычная московская толпа. Где-то среди них должны быть «топтуны наружки»²¹. Сейчас проверим.

Я вошел в вагон метро и остановился у дверей. На противоположной стороне стоял встречный поезд. Платформа была пуста. Я выскочил, бросился через платформу и влетел в вагон как раз в тот момент, когда в динамиках прозвучало: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция „Библиотека имени Ленина“».

И тут я ощутил сильный толчок в спину. Я отлетел на противоположную сторону вагона, чуть на сбив с ног какую-то тетку, а за мной, вскочив в последний момент в закрывающиеся двери, влетели двое молодых людей в одинаковых пальто и кепках.

– Ты что толкаешься? – спросил я.

– А ты чего бегаешь? – ответил один из них. – Пойдем-ка проверим, что ты за птица.

Две пары сильных рук схватили меня за локти. Остальные пассажиры отошли на безопасное расстояние. Поезд остановился на «Библиотеке имени Ленина».

Меня завели в милицейскую дежурку. За столом сидел сержант, за решеткой – уголовного вида мужик, мой новый товарищ по классу.

– Сиди здесь, – сказал один из топтунов и что-то прошептал милиционеру. Тот куда-то позвонил по телефону. Как ни странно, я все еще не чувствовал страха.

²¹ Участники группы наружного наблюдения КГБ.

– Совершенно преступление, и вы похожи на подозреваемого, – сказал милиционер. – Предъявите ваши документы. Мы должны вас обыскать.

Пока он переписывал мои паспортные данные, топтуны изучали содержимое моей сумки и приказали вывернуть карманы.

– Шмон, – удовлетворенно объявил парень за решеткой. Топтуны перелистывали номер *Newsweek*, который дал мне Джей.

– Вы свободны, можете идти, – наконец сказал милиционер.

«Свободен», – подумал я, выходя из метро. Впервые за долгие годы я действительно так себя чувствовал. Какое чудесное ощущение – я свободен!

В том же месяце мы с Валеёй расписались и подали документы на выезд «для воссоединения с двоюродной теткой» в Тель-Авиве.

* * *

Как и предсказывал Кирилл Хенкин, в апреле 1974 года нам было отказано в выезде. Получив повестку явиться в ОВИР, я отправился туда один, как новоиспеченный глава семьи. В ОВИРе меня принимала легендарный инспектор по эмиграции Маргарита Кошелева – худая, в милицейской форме, с водянисто-голубыми глазами блондинка, – ко-

торую московские отказники прозвали Ильзой Кох в честь печально известной жены коменданта нацистского концлагеря. Кошачьим голосом она объявила, что выезд меня и Вали «на постоянное жительство в государство Израиль признан нецелесообразным», ибо противоречит интересам государства. Решение окончательное, без права на апелляцию.

– Правильно ли я понимаю, что это связано с моей прежней работой? – поинтересовался я.

– Как хотите, так и понимайте, – сказала Кошелева, глядя сквозь меня.

В кабинете находился еще один мужчина лет сорока в гражданском костюме, который молча сидел за пустым столом в углу и смотрел на меня с любознательным, совершенно небюрократическим выражением.

«Это мой кагэбэшный опер, – подумал я. – Он знает обо мне больше, чем я сам, имея в распоряжении весь арсенал средств: информаторов, прослушку, аналитиков и так далее. Как он странно на меня смотрит – с таким пониманием и почти по-родственному, а я даже не знаю его имени. Возможно, я больше никогда его не увижу». Когда я уходил, наши глаза на мгновение встретились, и между нами промелькнул импульс взаимопонимания.

Получив отказ, я вернулся домой, чтобы сообщить новость Вале. Не могу сказать, что она была ужасно расстроена, да и я тоже. За шесть месяцев, прошедших с момента подачи заявления, мы привыкли жить в подвешенном состо-

янии между двумя мирами и в некотором смысле получали от этого удовольствие: мы были еще дома, но уже на свободе; избавились от страха, но наслаждались каждым лишним днем, который мы можем провести с близкими. Мы получали максимум от того, что один из наших товарищей-отказников назвал «каникулами от реальности».

Мы вели кочевой образ жизни; за девять месяцев сменили четыре арендованные комнаты: как только хозяева понимали, что жильцы нигде не работают и к ним приходят иностранцы, не говоря уже об интересе милиции, нас просили съехать, и мы отправлялись искать новое жилье, притворяясь бедными студентами. Моя бывшая жена Татьяна относилась ко всему с образцовым спокойствием, позволяя мне видеть маленькую Машу столько, сколько я захочу, несмотря на то что машины «наружки» время от времени сопровождали меня до ее подъезда. Вопреки опасениям моего отца я не воспринимал всерьез угрозу быть раздавленным режимом. Наверное, это была просто юношеская самоуверенность; спустя годы я понял, что мне очень повезло – все могло закончиться гораздо хуже. Но в те дни я чувствовал себя прекрасно. Я был уверен, что рано или поздно мы уедем и я вернусь в лабораторию.

В Москве было несколько сот отказников, по всему Советскому Союзу – несколько тысяч; все были ученые или инженеры со степенями и успешной карьерой за плечами. Каждому было отказано по причине «государственных интере-

сов», и все как один утверждали, что это было совершенно необоснованно. Все мы считали, что таким образом власти пытаются отпугнуть других желающих подавать заявление на выезд, чтобы остановить утечку мозгов.

Благодаря знанию английского языка и урокам Кирилла Хенкина я быстро стал «пресс-секретарем» всей группы. Наше положение – коллективно и индивидуально – вызывало большой интерес у иностранных корреспондентов, ибо проблема еврейской эмиграции стала основным препятствием «разрядки» Никсона – Брежнева.

Следуя «принципу Фишера» – досадить властям до такой степени, что они захотят меня «отсюда вышвырнуть», – сфера моего подпольного пресс-бюро включала и демократическое движение. И я был «официальным» неофициальным переводчиком Сахарова.

Парализующий страх во время моего первого визита в квартиру на ул. Чкалова больше не возвращался. Теперь я был хорошо известен в Конторе, и мне больше не мешали входить и выходить от Сахарова. Иногда я замечал за собой слезку, но научился ее игнорировать с помощью простой мантры: «не бойся того, что может случиться; ведь оно, может, и не случится, и окажется, что ты зря потратил нервную энергию». Меня стали упоминать в зарубежных радиопередачах, называя представителем московских диссидентов. Впервые в жизни я был полностью счастлив: свободен, влюблен и делал то, чем мог гордиться.

Часть II. Каникулы от реальности

Глава 6. Под крышей *détente*

Мрачные прогнозы отца не смогли пересилить эйфорию свободы, которая охватила меня после превращения из тайного антисоветчика в явного. Моя жена Валя была опьянена теми же чувствами. Пока наш отъезд откладывался, она помогала мне справляться с обширным хозяйством, оставленным уехавшим диссидентским «пресс-секретарем» Кириллом Хенкиным.

Денег нам хватало. Я зарабатывал, готовя школьников к вступительным экзаменам по биологии, а после того, как мы попали в списки отказников, мне стал приходиться раз в месяц по почте чек на 100 долларов – баснословная сумма, по московским меркам, – от еврейской семьи из Канады, которая меня «адаптировала». Этот чек можно было вполне легально поменять в Госбанке на Неглинной на сертификаты в валютный магазин «Березка», где продавались недоступные простым смертным товары – от датского пива до японских магнитофонов.

Был конец мая 1974 года. Мы жили тогда в съемной комнате в коммуналке на Плющихе. Жители этой темной, похожей на лабиринт квартиры были похожи на персонажей

из пьесы Горького «На дне»: морщинистая злая старуха, которая безудержно курила и кашляла; мать-одиночка с громко мычащим сыном-аутистом и пара инвалидов, оба в колясках. По вечерам они напивались, а затем начинали драться и гоняться друг за другом взад и вперед по коридору, стучаясь колесами в двери нашей комнаты. Моя собственная кооперативная квартира осталась после развода Тане; она жила там с четырехлетней Машей и заканчивала аспирантуру в МГУ.

Москва в эти дни готовилась к советско-американскому саммиту, и дел у меня было по горло. Для Никсона, ослабленного уотергейтским скандалом, *détente* с Советским Союзом был важным политическим козырем, пожалуй, единственным успехом его президентства. А между тем в Конгрессе США шла битва вокруг «поправки Джексона», законопроекта, связывавшего таможенные льготы и кредиты для СССР со свободой эмиграции. Как сообщал «Голос Америки», между сенатором Джексонсом и государственным секретарем Генри Киссинджером шла по этому поводу бурная перепалка. Накануне визита Никсона московские отказники были в центре внимания; американская пресса запестрела нашими биографиями и фотографиями.

В то время как в США на поддержку Джексона была брошена вся мощь еврейского лобби, в Москве мозговым центром кампании «за поправку» стала небольшая группа активистов с опорными пунктами в квартирах Володи Сле-

пака на улице Горького и профессора Александра Лернера на Ленинском проспекте; туда стекалась информация об отказниках со всей России и потоком шли туристы-эmissары из еврейских общин со всех концов света. Отказники стали глобальными знаменитостями, героями еврейского народа, помехой советско-американскому *détente*, бельмом на глазу Киссинджера и Никсона.

Между тем Андрей Дмитриевич Сахаров подливал масла в огонь, призывая американских законодателей не слушать своего президента и быть пожестче в отношении Кремля.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.